This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

ОБРАЗЦОВЫЯ СКАЗКИ

РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ.

Рисунки дозволены цензурою 25 Сентября 1881 года.

ОБРАЗЦОВЫЯ СКАЗКИ

РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ.

СОБРАЛЪ ДЛЯ ДѢТЕЙ

В. П. Авенаріусъ.

Съ 62 рисунками **Н. Н. Каразина.**

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1882.

Рисунки рѣзали на деревѣ граверы: **Адтъ**, **Вейерманъ**, **Рашевскій** и **Шмидтъ** въ Петербургѣ, **Ив. Авенаріусъ**, **Голевинскій**, **Гораздовскій** и **Мрувчинскій** въ Варшавѣ и **Брауне** въ Лейпцигѣ.

Тип. А. Веллинга, Англійскій пр., д. № 10.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

СТРАН.

Предисловіе . . . . . VII—XIV

СКАЗКИ:

I. Прологъ. **А. Пушкина**. 1

II. Сказка о царевичѣ Хлорѣ. **Императрицы Екатерины II** 3

III. Война мышей и лягушекъ. **В. Жуковскаго** 18

IV. Городокъ въ табакеркѣ. **Князя В. Одоевскаго (Дѣдушки Иринея)**. 32

V. Черная курица. **А. Погорѣльскаго**. . . 43

VI. Драматическая сказка объ Иванѣ Царевичѣ, о Жаръ-Птицѣ и о Сѣромъ волкѣ. **Н. Языкова** 64

VII. Старинная сказка о судьѣ Шемякѣ. **Н. Полевого**. 95

СТРАН.

VIII. Правда и Кривда. **В. Даля**. 109

IX. Три зятя. **М.** 115

X. Свое и чужое. **М. Чистякова** 121

XI. Озеро-слободка. **Г. Данилевскаго** . . . 124

XII. Свѣтлое Христово воскресеніе. **Д. Григоровича**. 128

XIII. Мальчикъ у Христа на елкѣ. **Ѳ. Достоевскаго** 147

XIV. Кузнечикъ-музыкантъ. **Я. Полонскаго**. . 153

XV. Мухоморъ. **А. Коваленской** 168

XVI. Маланьины стрѣлки. **Н. Ахшарумова**. . 178

XVII. Чтó говоритъ керосинъ въ горящей лампѣ. **Ю. Симашко** 191

XVIII. Вавило. **В. Острогорскаго** 194

XIX. Волкъ. **Н. Каразина** 204

XX. Сказка о пчелѣ Мохнаткѣ. **В. Авенаріуса** 209

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Сказка занимаетъ въ литературѣ небольшое, но самостоятельное мѣсто. Она—младшая сестра **сказанія**,—этой исторіи народа, имъ самимъ разсказанной и опоэтизированной. Тогда какъ общественная жизнь народа, подвиги его полубоговъ-героевъ выливаются въ вѣковѣчный богатырскій эпосъ, въ былевую пѣсню,—внутренняя, частная его жизнь, съ вѣрованіями и обычаями стародавними, съ юморомъ и мудростью народными, ищетъ болѣе скромнаго исхода въ поговоркахъ, пословицахъ, причитаніяхъ, а главнѣе всего—въ сказкѣ. Сказка волшебнымъ жезломъ своимъ раскрываетъ намъ двери и въ царскія палаты, и въ убогую хижину, даетъ заглянуть намъ и въ обыденный, домашній бытъ, и въ сокровеннѣйшіе помыслы и чувства нашихъ ближнихъ. Былевой эпосъ, пріуроченный въ началѣ къ опредѣленнымъ событіямъ и именамъ, со временемъ постепенно разрушаясь, обращается наконецъ также въ сказку; факты обобщаются, а богатыри и богатырицы обезличиваются въ Ивановъ-царевичей, въ Василисъ-прекрасныхъ и служатъ выраженіемъ уже не извѣстной какой-либо эпохи, а той или другой основной идеи. Но чародѣйная область сказки не ограничивается людскою средою; она захватываетъ и

весь окружающій міръ органическій и неорганическій: животныя отъ мала до велика заговариваютъ въ ней понятнымъ для насъ, человѣческимъ языкомъ; растенія одушевляются, камни оживаютъ; самыя силы природы (Солнце, Молнія, Вѣтеръ) одухотворяются; и даже отвлеченныя понятія (Правда и Кривда) облекаются въ плоть и кровь.

Нѣтъ народа, у котораго не было бы сказокъ—этого перваго воплощенія пробуждающейся человѣческой мысли; и сказки чуждыхъ теперь другъ другу народностей нерѣдко сходятся въ основныхъ своихъ тэмахъ, которыя, такимъ образомъ, ведутъ свое начало еще изъ временъ до-историческихъ, когда все человѣчество составляло какъ-бы одну семью. Такая долговѣчность сказокъ объясняется, независимо отъ коренныхъ ихъ идей, излюбленныхъ народомъ, еще ихъ образностью и доступностью, особенно же преобладающею въ нихъ гуманностью, находящею откликъ во всякомъ мало-мальски неиспорченномъ сердцѣ. Съ развитіемъ человѣчества, для высшихъ его слоевъ само собою должно было утратиться первоначальное значеніе стародавнихъ сказокъ. Насъ, трезвыхъ сыновъ XIX вѣка, привлекаетъ въ нихъ уже не мистическая и миѳическая ихъ сторона; мы снисходимъ любоваться только ихъ общею прелестью: ихъ простодушнымъ міровоззрѣніемъ и наивною замысловатостью, ихъ здоровымъ юморомъ и мѣткимъ языкомъ. Но для малютокъ нашихъ, по умственному кругозору своему стоящихъ на одномъ уровнѣ съ первобытными народами, сказка имѣетъ еще свое особое значеніе. Запасъ свѣдѣній ребенка еще такъ скуденъ, житейская опытность еще такъ бѣдна, а жажда знанія, а стремленіе къ прекрасному и высокому, врожденныя ему, уже такъ неутолимы! Но кладезь строкъ наукъ для него слишкомъ глубокъ; ключевая струя ихъ

слишкомъ холодна:гдѣ же искать ему источника для своей ненасытной любознательности, какъ не въ лучезарномъ мірѣ сказокъ, гдѣ житейская правда такъ заманчиво и, въ то-же время, такъ удобопонятно перемѣшана съ затѣйливымъ вымысломъ; чѣмъ утолить свои безотчетные порывы міровой любви, какъ не этими чистосердечными откровеніями первобытнаго человѣка? И съ заколдованнымъ царевичемъ, и съ бѣднымъ оборвышемъ обходитъ онъ бѣлый свѣтъ, какъ ровня, рука-объ-руку. И звѣри, и птицы, и малая букашка—ему близкіе друзья, которыхъ онъ отлично понимаетъ, которымъ сочувствуетъ всею своею невинною душою. Самъ онъ не болѣе, какъ старшій братъ ихъ, первенецъ и баловень природы, неоторвавшійся еще отъ материнской ея груди, подобно намъ, взрослымъ, а живущій съ нею одною общею, міровою жизнью.

Но не прививаются ли слабому и черезчуръ довѣрчивому уму ребенка сказочными небылицами превратныя понятія о жизни, о мірѣ Божьемъ?

О, дѣти наши далеко не такъ просты, чтобы въ сказочныя чудеса вѣрить безусловно! Играютъ же они въ куклы, въ лошадки, играютъ съ увлеченіемъ, но ужели они не знаютъ, что это игра? И самая чудесная сказка въ концѣ концовъ остается для нихъ все-же „сказкой“. Но фантазія, эта безотлучная спутница всякаго самостоятельнаго мышленія, пробуетъ здѣсь впервые свои крылья; но реальные образы, перевитые цвѣтами фантазіи, укладываются въ дѣтской головкѣ свободнѣе и легче; но отвлеченныя понятія и возвышенныя стремленія (справедливость къ ближнимъ, состраданіе къ несчастнымъ, уваженіе къ старшимъ и проч.), вылитыя въ наглядную, осязательную форму, запечатлѣваются въ душѣ ребенка явственнѣе и глубже. Ко всему этому, онъ незамѣтно

усвоиваетъ себѣ и удачные пословицы и присловья, выразительные обороты рѣчи, присущіе народной сказкѣ.

Вотъ достоинства сказки въ воспитательномъ отношеніи; въ этомъ-же и ея слабая сторона. Быстро и охотно воспринимаемая дѣтскимъ воображеніемъ, сказка служитъ и самымъ опаснымъ проводникомъ не-дѣтскихъ идей. За примѣромъ идти недалёко: назовемъ только двѣ сказки, пользующіяся, благодаря своему остроумію и внѣшнему интересу, всемірною извѣстностью: сказки эти—„**Котъ въ сапогахъ**“ и „**Синяя борода**“. Въ одной, отъ начала до конца, торжествуютъ ложь и обманъ; другая имѣетъ предметомъ дурныя супружескія отношенія и кровожадные инстинкты. Между коренными русскими народными сказками не мало также такихъ, которыя, по содержанію своему, вовсе не пригодны для дѣтей. Но и остальныя изъ нихъ, какъ плоды незрѣлой и необузданной сознательнымъ мышленіемъ фантазіи, страдаютъ, по большей части, съ одной стороны—длиннотами и ничѣмъ немотивированными вставочными эпизодами, съ другой—недосказанностью. Такъ, при всемъ обиліи скопленнаго у насъ вѣками сказочнаго матеріала, матеріалъ этотъ, въ настоящемъ своемъ, сыромъ видѣ, не отвѣчаетъ требованіямъ строгой педагогики. Большую услугу поэтому оказали нашимъ дѣтямъ тѣ изъ русскихъ писателей-художниковъ, которые, съ легкой руки Пушкина, черпали свое вдохновеніе изъ народной сказки: сохраняя всю ея образность и силу, они сообщали ей внѣшнюю и внутреннюю законченность. Рядомъ, однако-же, съ **народной художественной** сказкой, не меньшую пользу могутъ принэсить дѣтямъ и **оригинальныя художественныя** сказки, спеціально приспособленныя для воспитательныхъ цѣлей. Къ сожалѣнію, очень немногими изъ нашихъ писателей сказки ихъ

изданы отдѣльно, а изъ изданныхъ—нѣкоторыхъ нѣтъ уже въ продажѣ; значительная же часть лучшихъ нашихъ художественныхъ сказокъ схоронена или въ полныхъ собраніяхъ сочиненій авторовъ, или въ старыхъ нумерахъ журналовъ, и затѣмъ вовсе неизвѣстна современному поколѣнію русскихъ дѣтей. Цѣль настоящаго сборника—по возможности восполнить этотъ недостатокъ.

Первый опытъ художественной сказки принадлежитъ у насъ величайшей государынѣ прошлаго да и нынѣшняго столѣтія. Рукою, начертавшею безсмертный **„Наказъ“**, набросаны и двѣ сказки для дѣтей. Обѣ и умны, и остроумны. Но навѣянныя преобладавшимъ въ литературѣ того времени какъ у насъ, такъ и заграницей, дидактическимъ духомъ, онѣ носятъ преимущественно нравоучительный отпечатокъ. Одна изъ нихъ, болѣе дѣтская, вошла и въ нашъ сборникъ.

Починъ перенести русскую сказку на народную почву сдѣланъ, какъ уже сказано, геніальнымъ поэтомъ нашимъ Пушкинымъ. Рѣдкій ребенокъ на Руси, умѣющій читать по складамъ, не знаетъ наизусть его прелестную **„Сказку о рыбакѣ и рыбкѣ“**. Но поэтому самому мы полагали возможнымъ не помѣщать ее въ наше собраніе образцовыхъ сказокъ, поставивъ, взамѣнъ того, во главѣ ихъ **„Прологъ“** къ **„Руслану и Людмилѣ“**.

По той-же причинѣ, изъ сказокъ Жуковскаго, мы остановили свой выборъ не на **„Царѣ Берендѣ“**, а на менѣе извѣстной, но отличающейся передъ остальными наиболѣе тонкимъ юморомъ, **„Войнѣ мышей и лягушекъ“**.

Два другихъ современника Пушкина: Кн. Одоевскій и Погорѣльскій, подъ вліяніемъ господствовавшей въ ту пору на Западѣ фантастической школы Эрнста-Теодора-Амадеуса

Гофмана, написали, между прочимъ, и предлагаемыя здѣсь двѣ сказки ихъ, которыя по художественной замысловатости немногимъ уступятъ причудливымъ созданіямъ автора **„Кота Мурра“**.

Но, по стопамъ Пушкина, цѣлый рядъ русскихъ писателей обращался также къ роднымъ народнымъ мотивамъ. Такъ, Языкову удалось общеизвѣстной **„Жаръ-Птицѣ“** въ стихотворно-драматической формѣ придать новую прелесть, и не даромъ Бѣлинскій предпочиталъ эту пьесу всему, что̀ вообще вышло изъ-подъ пера Языкова. Пересказанная Ник. Полевымъ съ такимъ мастерствомъ **„Старинная сказка о судьѣ Шемякѣ“** даетъ самое живое представленіе о пресловутомъ „Шемякиномъ судѣ“, а слѣдующая у насъ непосредственно за нею сказка Даля о **„Правдѣ и Кривдѣ“** еще болѣе оттѣняетъ настоящее значеніе этого суда.

Конецъ пятидесятыхъ годовъ ознаменовался особеннымъ подъемомъ русскихъ періодическихъ изданій, и въ нихъ—народнаго элемента. Во вновь возникшихъ дѣтскихъ журналахъ, а также въ отдѣльныхъ сборникахъ (какъ сборникъ **„Украинскихъ сказокъ“** Г. П. Данилевскаго) возобновились попытки ознакомленія дѣтей съ народными сказками въ художественныхъ пересказахъ. Образцами наиболѣе удачныхъ такихъ пересказовъ могутъ служить взятыя нами сказки: **„Три зятя“**, **„Свое и чужое“** и **„Озеро-слободка“**, къ которымъ, по характеру своему, прямо примыкаетъ основанное на народномъ повѣрьи **„Свѣтлое Христово Воскресеніе“** г. Григоровича.

Но, помимо народныхъ тэмъ, двое изъ нашихъ современныхъ писателей-художниковъ руководились и собственнымъ вдохновеніемъ: въ **„Мальчикѣ у Христа на елкѣ“** Достоевскаго совершенно обыденный случай оборотной стороны

столичной жизни затрагиваетъ самыя нѣжныя струны человѣческаго сердца; а въ высоко-поэтическомъ **„Кузнечикѣ-музыкантѣ“** г. Полонскаго идеализируется міръ насѣкомыхъ.

Въ мірѣ насѣкомыхъ же и растеній вращается прозаическая поэмка **„Мухоморъ“** г-жи Коваленской, занимающей между нашими дѣтскими разсказчицами едва ли не первое мѣсто.

Реальные образы, господствующіе въ послѣднее время во всей нашей литературѣ, преобладаютъ теперь и въ нашей дѣтской сказкѣ. Г. Ахшарумовъ, между болѣе крупнымъ литературнымъ дѣломъ, удѣляющій досугъ свой и для малютокъ, разрабатываетъ народныя сказки совершенно самостоятельно, освѣщая ихъ высшею идеей. Такъ, въ его **„Вѣтровой хозяюшкѣ“** одухотворяется сила вѣтра, въ **„Емелѣ“**—„водяная сила“ (вода и паръ), а во взятой нами сказкѣ **„Маланьины стрѣлки“**—молнія небесная и оружейная.

Къ тому-же реальному направленію относятся и четыре послѣднія сказки нашего сборника: одна знакомитъ съ чудесами каменноугольнаго періода, другая—съ цикломъ народныхъ примѣтъ, третья—съ внутреннимъ міромъ дикаго звѣря, четвертая—съ трудолюбивымъ царствомъ пчелъ.

Такъ какъ въ числѣ выбранныхъ нами образцовыхъ сказокъ есть и такія, которыя первоначально предназначались не столько для дѣтей, какъ для взрослыхъ, то онѣ, по необходимости, должны были подвергнуться нѣкоторымъ урѣзкамъ и передѣлкамъ; причемъ мы, однако, само собою разумѣется, рѣшились каснуться только того, что̀ въ томъ или другомъ отношеніи не соотвѣтствовало требованіямъ младшаго возраста. Сказки эти: **„Жаръ-Птица“**, **„Шемякинъ судъ“**, **„Свѣтлое Христово Воскресеніе“**, **„Мальчикъ у Христа на елкѣ“** и **„Кузнечикъ-музыкантъ“**. **„Черная курица“** хотя и названа авто-

ромъ ея „волшебною сказкою **для дѣтей**“, но изъ нея нельзя было не устранить, кромѣ нѣкоторыхъ длиннотъ, неумѣстныя насмѣшки надъ воспитателями десятилѣтняго героя и сцену тѣлеснаго его наказанія; а въ написанномъ сто лѣтъ тому назадъ **„Царевичѣ Хлорѣ“** оказалось необходимымъ сгладить нѣкоторыя шероховатости стариннаго слога, которыя, затрудняя чтеніе, могли бы пожалуй отбить у маленькихъ читателей даже охоту ознакомиться съ содержаніемъ этой любопытной и назидательной сказки.

В. Д.

Петербургъ, въ Августѣ 1881 г.

СКАЗКИ.

Прологъ.

У лукоморья дубъ зеленый,
Златая цѣпь на дубѣ томъ:
И днемъ и ночью котъ ученый
Все ходитъ по цѣпи кругомъ;
Идетъ направо—пѣснь заводитъ,
Налѣво—сказку говоритъ.

Тамъ чудеса: тамъ лѣшій бродитъ;
Русалка на вѣтвяхъ сидитъ;
Тамъ на невѣдомыхъ дорожкахъ
Слѣды невиданныхъ звѣрей;
Избушка тамъ на курьихъ ножкахъ
Стоитъ безъ оконъ, безъ дверей;
Тамъ лѣсъ и долъ видѣній полны;
Тамъ о зарѣ прихлынутъ волны
На брегъ пустынный и пустой,
И тридцать витязей прекрасныхъ
Чредой изъ водъ выходятъ ясныхъ
И съ ними дядька ихъ морской;
Тамъ королевичъ мимоходомъ
Плѣняетъ грознаго царя;

Тамъ въ облакахъ передъ народомъ
Черезъ лѣса, черезъ моря
Колдунъ несетъ богатыря;
Въ темницѣ тамъ царевна тужитъ,
А бурый волкъ ей вѣрно служитъ;
Тамъ ступа съ бабою-ягой
Идетъ-бредетъ сама собой;
Тамъ царь Кощей надъ златомъ чахнетъ;
Тамъ русскій духъ... тамъ Русью пахнетъ!
И тамъ я былъ, и медъ я пилъ;
У моря видѣлъ дубъ зеленый,
Подъ нимъ сидѣлъ; и котъ ученый
Свои мнѣ сказки говорилъ...

А. Пушкинъ.

стрп. 2.

Сказка о царевичѣ Хлорѣ.

О временъ Кія, князя кіевскаго, жилъ да былъ на Руси царь — добрый человѣкъ, любившій правду и желавшій всѣмъ людямъ добра: онъ часто объѣзжалъ свои области, чтобы видѣть, каково жить людямъ, и вездѣ развѣдывалъ, живутъ ли по правдѣ.

У царя была царица. Царь и царица жили согласно; царица ѣзжала съ царемъ и не любила быть съ нимъ въ разлукѣ.

Пріѣхалъ царь съ царицею въ одинъ городъ, построенный на высокой горѣ посреди лѣса. Тутъ родился царю сынъ дивной красоты; ему дали имя Хлоръ. Но посреди этой радости и трехдневнаго празднества, царь получилъ непріятное извѣстіе, что сосѣди его неспокойно живутъ,

въ его землю въѣзжаютъ и разныя обиды пограничнымъ жителямъ творятъ. Царь взялъ войско, что̀ стояло по близости въ лагерѣ, и пошелъ съ нимъ для защиты границы.

Царица поѣхала съ царемъ. Царевичъ остался въ томъ городѣ и домѣ, гдѣ родился. Царь приставилъ къ нему семерыхъ нянекъ разумныхъ и въ дѣтскомъ воспитаніи искусныхъ. Городъ же царь велѣлъ укрѣпить стѣною изъ дикаго камня, по угламъ съ башнями по старинному обычаю; на башняхъ пушекъ не поставили, такъ какъ тогда еще нигдѣ не было пушекъ. Домъ, въ которомъ остался царевичъ Хлоръ, хотя и не былъ построенъ изъ сибирскаго мрамора и порфира, но былъ очень хорошъ и покойно расположенъ. Позади палатъ были сады съ плодовыми деревьями, а въ садахъ—пруды съ рыбами и бесѣдки во вкусѣ разныхъ народовъ, откуда имѣлся обширный видъ на окружныя поля и долины.

Когда царевичъ сталъ подростать, кормилица и няни начали примѣчать, что онъ дѣлается все красивѣй, а еще того умнѣй и живѣй; и разнесся повсюду слухъ о красотѣ, умѣ и большихъ дарованіяхъ царевича. Услышалъ о томъ и какой-то ханъ киргизскій, кочевавшій съ кибитками на дикой степи; полюбопытствовалъ увидѣть столь

дивное дитя, а увидѣвъ, пожелалъ увезти его съ собою; началъ просить нянь, чтобъ поѣхали съ царевичемъ къ нему въ степь. Няни сказали со всякою учтивостью, что имъ того безъ дозволенія царя дѣлать нельзя, что онѣ не имѣютъ чести знать господина хана, и съ царевичемъ не ѣздятъ къ незнакомымъ людямъ въ гости. Ханъ не былъ доволенъ тѣмъ учтивымъ отвѣтомъ, присталъ пуще прежняго, какъ голодный къ тѣсту; но, получивъ твердый отказъ, наконецъ понялъ, что просьбами не успѣетъ въ своемъ намѣреніи, и прислалъ къ нимъ подарокъ. Онѣ, поблагодаривъ, отослали дары обратно и велѣли сказать, что ни въ чемъ нужды не имѣютъ. Ханъ былъ упрямъ, и, не оставляя своего намѣренія, сталъ раздумывать: какъ быть? Придумалъ, нарядился въ изодранную одежду и, сѣвъ у воротъ сада, будто человѣкъ старый и больной, сталъ просить милостыни у проходящихъ. Царевичъ прогуливался въ тотъ день по саду, увидѣлъ, что у воротъ сидитъ какой-то старикъ, послалъ спросить: что за старикъ?—Побѣжали, спросили: что за человѣкъ?—Возвратились съ отвѣтомъ, что больной нищій. Хлоръ, какъ любопытное дитя, просился посмотрѣть больнаго нищаго. Няни, унимая Хлора, сказали, что смотрѣть нечего и чтобъ послалъ къ нему милостыню. Хлоръ захотѣлъ самъ отдать деньги, побѣжалъ впередъ. Няни побѣжали за нимъ, но чѣмъ няни скорѣе бѣжали, тѣмъ младенецъ шибче бѣжалъ; выбѣжавъ же за ворота и подбѣжавъ къ мнимому нищему, зацѣпился ножкою за камешекъ и упалъ на личико. Нищій вскочилъ, подпялъ дитя пóдъ руки и пустился съ нимъ пóдъ гору. Тутъ стояли вызолоченные роспуски, бархатомъ обитые. Сѣлъ ханъ на роспуски и ускакалъ съ царевичемъ въ степь. Няни, какъ добѣжали до воротъ, не нашли уже ни нищаго, ни дитяти, ни

слѣда ихъ не видали: и дороги тутъ не было, гдѣ ханъ съ горы спустился. Сидя, держалъ онъ царевича передъ собою одною рукою, какъ-будто курочку за крылышко, другою же рукою махнулъ шапкою черезъ голову и крикнулъ три раза: „ура!“ На голосъ его няни прибѣжали къ косогору, но поздно: догнать не могли.

Ханъ благополучно довезъ Хлора до своего кочевья и вошелъ съ нимъ въ кибитку, гдѣ встрѣтили хана его вельможи. Ханъ приставилъ къ царевичу лучшаго изъ старшинъ. Тотъ взялъ Хлора на руки и отнесъ его въ богато-украшенную кибитку, устланную китайскою красною камкою и персидскими коврами; дитя же посадилъ на парчевую подушку и началъ тѣшить его. Но Хлоръ очень плакалъ и жалѣлъ, что отъ нянь убѣжалъ впередъ, и, то и дѣло, спрашивалъ: куда его везутъ? зачѣмъ? на что? гдѣ онъ?—Старшина и находившіеся при немъ киргизы насказали ему много басней: одинъ говорилъ,

будто по теченію звѣздъ такъ опредѣлено; другой — будто тутъ лучше жить, нежели дома; всего насказали, окромѣ правды; но, видя, что ничто не унимаетъ слезъ Хлора, вздумали его стращать небывальщиною, говоря: „Перестань плакать! или оборотимъ тебя летучею мышью или коршуномъ; а тамъ волкъ или лягушка тебя съѣстъ.“— Царевичъ небоязливъ былъ: посреди слезъ расхохотался надъ такою нелѣпостью. Старшина, увидя, что дитя перестало плакать, приказалъ накрыть столъ. Накрыли и кушанья принесли. Царевичъ покушалъ. Потомъ подали варенье въ сахарѣ и разные плоды, какіе имѣли; послѣ ужина раздѣли его и положили спать.

На другой день, рано до́ свѣта, ханъ собралъ своихъ вельможъ и сказалъ имъ:

— Да будетъ извѣстно вамъ, что я вчерашній день привезъ съ собою царевича Хлора, дитя рѣдкой красоты и ума. Хотѣлось мнѣ доподлинно узнать: правда ли слышанное объ немъ? А чтобы узнать теперь, я намѣренъ употребить разные способы.

Вельможи, услыша слова ханскія, поклонились въ поясъ. Изъ нихъ льстецы похвалили ханскій поступокъ, что чужое-де и то еще сосѣдняго царя дитя увезъ. Трусы потакали, говоря: „Такъ, надёжа государь-ханъ! ка́къ и быть иначе, какъ тебѣ на сердце придетъ?“ Немногіе лишь, что́ дѣйствительно любили хана, покачали головою; на вопросъ же хана: отчего не говорятъ?—сказали чистосердечно: „Дурно ты сдѣлалъ, что у сосѣдняго царя увезъ сына, и бѣды намъ не миновать, коли не поправишь своего поступка.“—Ханъ же сказалъ: „Вотъ такъ вы всегда ропщете противу меня!“— и отошелъ отъ нихъ; а когда царевичъ проснулся, то приказалъ принести его къ себѣ. Дитя, видя, что нести его хотятъ, сказало: „Не

трудитесь; я ходить умѣю, я самъ пойду,“ — и, войдя въ ханскую кибитку, всѣмъ поклонилось: сперва хану, потомъ около стоявшимъ направо и налѣво; послѣ чего стало предъ ханомъ съ почтительнымъ, учтивымъ и благопристойнымъ такимъ видомъ, что всѣхъ киргизовъ и самаго хана въ удивленіе привело. Ханъ, однако, опомнясь, сказалъ такъ:

— Царевичъ Хлоръ! говорятъ про тебя, что ты дитя разумное. Сыщи же мнѣ, пожалуйста, цвѣтокъ розу безъ шиповъ, что́ не колется. Дядька тебѣ покажетъ большое поле, сроку же даю тебѣ трое сутокъ.

Царевичъ поклонился хану, сказалъ: „слышу“, и вышелъ изъ кибитки, пошелъ къ себѣ.

Доро́гою попалась ему на встрѣчу дочь ханская, что́ была замужемъ за Брюзгою-Султаномъ. Этотъ никогда не смѣялся и сердился на другихъ за улыбку. Ханша же была нрава веселаго и весьма любезна. Увидя Хлора, она сказала:

— Здравствуй, царевичъ! здорово ли живешь? куда изволишь идти?

Царевичъ сказалъ, что, по приказанію хана, батюшки ея, идетъ искать розу безъ шиповъ, что́ не колется. Ханша Фелица (такъ ее звали) дивилась, что дитя посылаютъ искать такой трудной вещи, и, полюбивъ младенца въ сердцѣ своемъ, сказала:

— Царевичъ! подожди маленько: я съ тобою пойду искать ту розу безъ шиповъ, коли батюшка-ханъ позволитъ.

Хлоръ пошелъ въ свою кибитку обѣдать, ибо часъ былъ обѣда; ханша же къ хану—просить позволенія идти съ царевичемъ искать розу безъ шиповъ, что́ не колется. Ханъ не только не позволилъ, но и запретилъ ей на́крѣпко, чтобъ не шла съ дитятею. Фелица, вышедши

отъ хана, мужа своего Брюзгу-Султана уговорила остаться при отцѣ ея, ханѣ, сама же пошла къ царевичу. Онъ обрадовался, какъ увидѣлъ ее; она же сказала ему:

— Ханъ мнѣ не велитъ идти съ тобою, царевичъ, искать розу безъ шиповъ, что́ не колется; но я тебѣ дамъ совѣтъ добрый; смотри, не забудь! слышишь ли, дитя? не забудь, что́ тебѣ скажу.

Царевичъ обѣщалъ вспомнить.

— Отселѣ недалече,—продолжала она,—какъ пойдешь искать розу безъ шиповъ, что́ не колется, встрѣтишься съ людьми весьма пріятнаго обхожденія. Станутъ уговаривать тебя идти съ ними, наскажутъ тебѣ про веселія многія, про несчетныя забавы; не вѣрь имъ—лгутъ: веселія ихъ мнимыя и ведутъ только къ бо́льшей скукѣ. Затѣмъ придутъ другіе; будутъ о томъ-же еще сильнѣе тебя просить; отважи съ твердостью—отстанутъ. Потомъ попадешь въ лѣсъ; тутъ найдешь льстивыхъ людей, что́ всячески стараться будутъ пріятными разговорами отвести тебя отъ истиннаго пути. Но ты не забывай, что тебѣ одинъ цвѣтокъ, розу безъ шиповъ, что́ не колется, искать надо. Я тебя люблю и потому къ тебѣ вышлю на встрѣчу сына моего: онъ поможетъ тебѣ найти тотъ цвѣтокъ.

Хлоръ, выслушавъ Фелицу, спросилъ:

— Развѣ такъ трудно сыскать розу безъ шиповъ, что́ не колется?

— Нѣтъ,—отвѣчала ханша:—не слишкомъ трудно, коли кто прямодушенъ и твердъ въ добромъ намѣреніи.

— А нашелъ ли уже кто тотъ цвѣтокъ?—спросилъ Хлоръ.

— Я видала,—сказала Фелица,—людей простыхъ, что́ успѣвали въ томъ не хуже вельможъ.

Сказавъ такъ, ханша простилась съ царевичемъ; старшина же дядька повелъ дитя искать розу безъ шиповъ, что́ не колется, и впустилъ его затѣмъ сквозь калитку въ огромный звѣринецъ. Тутъ увидѣлъ Хлоръ передъ собою множество дорогъ: однѣ были прямыя, другія извивались вкривь и вкось, третьи были перепутаны между собою. Царевичъ не зналъ сначала, по которой идти; увидя же юношу, идущаго ему на встрѣчу, поспѣшилъ къ нему спросить: кто онъ такой?—Юноша отвѣчалъ:

— Я—*Разсудокъ*, сынъ Фелицынъ; меня мать моя прислала идти съ тобою искать розу безъ шиповъ, что́ не колется.

Царевичъ, благодаря Фелицу въ душѣ и на словахъ, взялъ его за руку и освѣдомился, по какой дорогѣ идти?— Разсудокъ, съ веселымъ и добрымъ видомъ, сказалъ ему:

— Не бойся, царевичъ, пойдемъ по прямой дорогѣ, по которой не всѣ ходятъ, хотя она и лучше другихъ.

— Отчего-же по ней не ходятъ?—спросилъ царевичъ.

— Оттого,—сказалъ юноша, — что, останавливаясь, сбиваются на другія дороги.

Выйдя лѣсомъ къ красивой долинѣ, они увидѣли рѣчку, прозрачной воды, и на берегу ея нѣсколько молодыхъ людей: одни изъ нихъ сидѣли, другіе лежали на травѣ и подъ деревьями. Какъ увидѣли царевича, встали и подошли къ нему; одинъ же изъ нихъ сказалъ ему отмѣнно учтиво и привѣтливо:

— Позвольте, сударь, спросить: куда вы идете? Нечаянно ли вы сюда зашли? и не можемъ ли мы имѣть удовольствіе чѣмъ-нибудь вамъ услужить? При одномъ видѣ вашемъ мы чувствуемъ уже къ вамъ уваженіе и дружбу.

Царевичъ, вспомня слова Фелицы, улыбнулся и сказалъ:

— Я не имѣю чести васъ знать, ни вы меня не знаете; поэтому ваши слова я приписываю обыкновенной свѣтской учтивости, а не моимъ достоинствамъ; иду же я искать розу безъ шиповъ, что́ не колется.

Тутъ заговорилъ и другой:

— Намѣреніе ваше прекрасно; но сдѣлайте милость, останьтеся съ нами хоть нѣсколько дней; у насъ тутъ превесело.

Хлоръ отвѣчалъ, что ему назначенъ срокъ и останав-

ливаться недосугъ; опасается ханскаго гнѣва. Они же старались его увѣрить, что ему отдыхъ нуженъ для здоровья, и что лучше и удобнѣе мѣста не найдетъ, ни людей усерднѣе ихъ. Наконецъ мужчины и женщины, взявъ другъ друга за руки, сдѣлали около Хлора и его проводника кругъ и начали плясать и скакать, не пуская ихъ далѣе. Но пока они вокругъ вертѣлись, Хлора подъ руку ухватилъ Разсудокъ и выбѣжалъ съ нимъ изъ круга такъ скоро, что тѣ не могли ихъ удержать.

Пройдя далѣе, нашли они Лѣньтягъ-Мурзу, прогуливавшагося съ своими домашними. Увидя Хлора съ провожатымъ, тотъ принялъ ихъ ласково и просилъ зайти въ его избу. Они, уставъ маленько, зашли къ нему. Онъ посадилъ ихъ на диванъ, самъ же легъ возлѣ нихъ посреди пуховыхъ подушекъ, покрытыхъ старинною парчею; его же домашніе сѣли около стѣны. Потомъ Лѣньтягъ-Мурза приказалъ принести трубки и кофе. Услыша же отъ нихъ, что табаку не курятъ, кофе не пьютъ, велѣлъ ковры опрыскать благовонными духами; послѣ чего спросилъ Хлора о причинѣ его прихода въ звѣринецъ. Царевичъ отвѣчалъ, что, по приказанію хана, онъ ищетъ розу безъ шиповъ, чтó не колется. Лѣньтягъ-Мурза, дивясь,что въ такихъ молодыхъ лѣтахъ предпринялъ такой трудъ, замѣтилъ:

— И старѣе тебя едва ли на то станетъ. Отдохните, не ходите далѣе! У меня здѣсь есть люди, чтó также найти старались, да, уставъ, бросили.

Одинъ изъ сидѣвшихъ тутъ-же всталъ съ мѣста и сказалъ:

— Я самъ не разъ хотѣлъ дойти, да соскучился, а, вмѣсто того, остался жить у моего благодѣтеля Лѣньтягъ-Мурзы, который меня и кормитъ.

Среди этихъ разговоровъ Лѣньтягъ-Мурза уткнулъ голову въ подушку и заснулъ. Какъ сидѣвшіе около стѣ-

ны услышали, что Лѣньтягъ-Мурза храпитъ, то полегоньку встали; одни пошли наряжаться и украшаться, другіе легли спать, третьи начали всякій вздоръ говорить, четвертые ухватились за карты и кости, и при всѣхъ этихъ занятіяхъ одни сердились, другіе радовались, и на лицахъ всѣхъ выражались волновавшія ихъ разныя чувства. Когда Лѣньтягъ-Мурза проснулся, всѣ опять собрались около него и внесли въ горницу столъ съ фруктами.

Лѣньтягъ-Мурза, оставаясь посреди пуховыхъ подушекъ, подчивалъ оттуда царевича, который весьма прилежно примѣчалъ все, что̀ тамъ ни дѣлалось. Но лишь только Хлоръ принялся отвѣдывать предлагаемое имъ Лѣньтягъ-Мурзою, какъ проводникъ его Разсудокъ за рукавъ его дернулъ полегоньку. Кисть прекраснаго винограда, которую царевичъ держалъ въ рукахъ, разсыпалась по̀-полу; самъ-же онъ, опомнясь, тотчасъ всталъ, и оба вышли изъ хоромъ Лѣньтягъ-Мурзы.

Вскорѣ увидѣли они дворъ крестьянскій съ участкомъ отлично-обработанной земли, на которой былъ засѣянъ всякій хлѣбъ: и рожь, и овесъ, и ячмень, и гречиха; иной поспѣвалъ, другой лишь выходилъ изъ земли. Далѣе

увидѣли луга, на которыхъ паслись овцы, коровы и лошади. Хозяина они нашли съ лейкою въ рукахъ: онъ обливалъ разсаживаемые женою его огурцы и капусту; дѣти же были заняты въ другомъ мѣстѣ: щипали сорную траву изъ овощей.

— Богъ помочь, добрые люди!—сказалъ Разсудокъ.

— Спасибо, баричи!—отвѣчали они, и, кланяясь царевичу незнакомо, просили Разсудокъ любезно:—Загляни къ намъ, милости просимъ! И матушка твоя, ханша, насъ жалуетъ, навѣщаетъ и не оставляетъ.

Разсудокъ съ Хлоромъ зашли къ нимъ на дворъ. Посреди двора стоялъ старый и высокій дубъ, подъ нимъ — широкая, чисто-выскобленная лавка, а передъ лавкою—столъ. Гости сѣли на лавку; хозяйка съ невѣсткою разослали по столу скатерть и поставили на столъ чашу съ простоквашею, другую съ яичницею, блюдо блиновъ горячихъ и яицъ въ смятку, а посрединѣ ветчину добрую; положили тутъ-же ситный хлѣбъ, да поставили возлѣ каждаго крынку молока, а послѣ, вмѣсто закусокъ, принесли сотъ и огурцовъ свѣжихъ, да клюквы съ медомъ. Хозяинъ просилъ: „Кушайте, пожалуйста!“ Путешественники, проголодавшись, ничѣмъ не брезгали и разговаривали между тѣмъ съ хозяиномъ и хозяйкою, которые имъ разсказывали, какъ они живутъ здорово, весело и спокойно, проводя вѣкъ свой за работою и трудомъ. Послѣ ужина на той-же лавкѣ разослали войлочки; Хлоръ и Разсудокъ на нихъ положили свои плащи; хозяйка каждому принесла подушку съ бѣлою наволочкою, и тутъ они легли спать и заснули крѣпко, потому что устали.

Поутру встали на разсвѣтѣ, поблагодарили хозяина, который за ночлегъ ничего съ нихъ взять не хотѣлъ, и

собрались въ путь. Отойдя съ полверсты, услышали издали, что играютъ на волынкѣ. Хлору захотѣлось подойти ближе; Разсудокъ замѣтилъ, что волынкою отведутъ ихъ отъ пути; но Хлоръ, не устоявъ противъ любопытства, подошелъ къ волынкѣ. Тутъ, однако, увидя безобразія пьяныхъ около волынщика, испугался и кинулся на руки Разсудку. Тотъ отнесъ его опять на прямую дорогу, гдѣ вскорѣ, пройдя рощу, увидѣли крутую гору. Разсудокъ сказалъ царевичу, что тутъ-то и растетъ роза безъ шиповъ, что́ не колется. Но Хлоръ отъ солнечнаго зноя изнемогъ; началъ скучать, говоря, что конца нѣтъ той дорогѣ; долго-ли это будетъ, нельзя-ли идти по другой дорогѣ?—Разсудокъ отвѣчалъ, что онъ ведетъ его ближнимъ путемъ и что терпѣніемъ однимъ можно преодолѣть трудъ. Царевичъ съ неудовольствіемъ сказалъ: „Авось-либо, самъ сыщу дорогу!“ и, махнувъ рукою, удвоилъ шагъ и удалился отъ провожатаго.

Разсудокъ остался позади и пошелъ вслѣдъ за нимъ молча тихимъ шагомъ. Такъ забрелъ Хлоръ въ село, гдѣ никому не было дѣла до дитяти, потому что былъ торговый день и весь народъ былъ занятъ торгомъ на рынкѣ. Царевичъ, ходя между телегами и посреди торговаго шума, заплакалъ. Какой-то человѣкъ, который его не зналъ, проходилъ мимо и, увидя, что дитя плачетъ, сказалъ ему:

— Перестань, щенокъ, кричать! и безъ тебя здѣсь шума довольно.

Въ это самое время подошелъ Разсудокъ. Царевичъ сталъ жаловаться на того человѣка, что щенкомъ его назвалъ. Разсудокъ, ни слова не говоря, вывелъ его оттуда. Когда же Хлоръ спросилъ, отчего онъ не говоритъ попрежнему съ нимъ, Разсудокъ отвѣчалъ:

— Ты моихъ совѣтовъ не спрашиваешь, самъ же забрелъ невѣсть куда; такъ не прогнѣвайся, коли нашелъ людей не по себѣ...

Разсудокъ хотѣлъ еще продолжать, но имъ встрѣтился человѣкъ, немолодой, но пріятнаго вида, окруженный толпою юношей. Хлоръ, любопытствуя всегда обо всемъ, обратился къ одному изъ нихъ съ вопросомъ: кто это съ ними?

— Это нашъ учитель,—сказалъ юноша;—мы отучились и идемъ гулять. А вы куда идете?

На что царевичъ отвѣчалъ:

— Мы ищемъ розу безъ шиповъ, что́ не колется.

— Слыхалъ я,—сказалъ юноша,—отъ нашего учителя про розу безъ шиповъ, что́ не колется. Цвѣтокъ этотъ не что иное, какъ *добродѣтель*. Иные думаютъ достигнуть ее кривыми путями, но къ ней ведетъ только прямая дорога. Вотъ гора у васъ въ виду, на которой растетъ роза безъ шиповъ, что́ не колется; но дорога крута и камениста.

Съ этими словами онъ простился съ ними и пошелъ за своимъ учителемъ.

Хлоръ съ провожатымъ пошли прямо къ горѣ и нашли узкую и каменистую тропинку, по которой стали всходить съ трудомъ. Тутъ попались имъ на встрѣчу старикъ со старухою, въ бѣломъ платьѣ, одинаково почтеннаго вида; они протянули имъ свои посохи и сказали: „Упирайтесь на нихъ—не спотыкнетесь“. Другіе прохожіе объяснили, что имя перваго—*Честность*, а другой—*Правда*.

Упираясь на тѣ посохи, они стали взбираться вверхъ по тропинкѣ, пока не добрались до вершины горы, гдѣ и нашли розу безъ шиповъ, что́ не колется. Лишь успѣ-

ли снять ее съ куста, какъ въ бывшемъ тутъ-же храмѣ заиграли на трубахъ и литаврахъ.

Повсюду разнесся слухъ, что царевичъ Хлоръ въ такихъ молодыхъ лѣтахъ сыскалъ розу безъ шиповъ, что́ не колется. Онъ поспѣшилъ къ хану съ цвѣткомъ; ханъ-же Хлора и со цвѣткомъ отослалъ къ царю. Тотъ такъ обрадовался царевичу и его успѣхамъ, что забылъ про всю свою тоску и печаль. Царевича и царь, и царица, и всѣ люди любили часъ отъ часу болѣе, потому что часъ отъ часу добродѣтель его все болѣе укрѣплялась.—Здѣсь сказкѣ конецъ; а кто больше знаетъ, пусть другую скажетъ.

Императрица Екатерина II.

Война мышей и лягушекъ.

Слушайте: я разскажу вамъ, друзья, про мышей и лягушекъ.
Сказка ложь, а пѣсня быль, говорятъ намъ; но въ этой
Сказкѣ моей найдется и правда. Милости-жь просимъ
Тѣхъ, кто охотникъ въ досужный часокъ пошутить, посмѣяться,
Сказки послушать; а тѣхъ, кто любитъ смотрѣть изъ подлобья,
Всякую шутку считая за грѣхъ, мы просимъ покорно

Къ намъ не ходить и дома сидѣть, да высиживать скуку.
Было прекрасное майское утро. *Квакунъ двадесятый*,
Царь знаменитой породы, властитель ближней трясины,
Вышелъ изъ мокрой столицы своей, окруженный блестящей
Свитой придворныхъ. Въ припрыжку они взобрали́сь на пригорокъ,
Сочной травою покрытый, и тамъ, на кочкѣ усѣвшись,
Царь приказалъ изъ толпы его окружавшихъ почетныхъ
Стражей вызвать бойцовъ, чтобъ его, царя, забавляли
Боемъ кулачнымъ. Вышли бойцы: началося, ужь много
Было лягушечьихъ мордъ царю въ угожденье разбито;
Царь хохоталъ: отъ смѣха придворная квакала свита
Вслѣдъ за его величествомъ. Солнце взошло ужь на полдень.
Вдругъ изъ кустовъ молодецъ въ прекрасной бѣленькой шубкѣ,
Съ тоненькимъ хвостикомъ, острымъ какъ стрѣлка, на тоненькихъ ножкахъ
Выскочилъ; слѣдомъ за нимъ четыре такихъ-же, но въ шубкахъ
Дымнаго цвѣта. Рысцёй они подбѣжали къ болоту.
Бѣлая шубка, носикъ въ болото уткнувъ и поднявши
Правую ножку, началъ воду тянуть, и, казалось,
Былъ для него тотъ напитокъ пріятнѣе меда; головку
Часто онъ вверхъ подымалъ, и вода съ усастаго рыльца
Мелкимъ бисеромъ падала; вдоволь напившись и лапкой
Рыльце обтерши, сказалъ онъ: „Какое раздолье студёной
Выпить воды, утомившись отъ зноя! Теперь понимаю
То, что чувствовалъ Дарій, когда онъ, въ бѣгствѣ, изъ мутной
Лужи напившись, сказалъ:—не знаю вкуснѣе напитка!—“
Эти слова одна изъ лягушекъ подслушала; тотчасъ

Скачетъ она съ донесеньемъ къ царю: „Изъ лѣса-де вышли
Пять какихъ-то звѣрьковъ, съ усами турецкими, уши
Длинныя, хвостики острые, лапки какъ руки; въ осоку
Всѣ они побѣжали и царскую воду въ болотѣ
Пьютъ. А кто и откуда они, неизвѣстно.“—Съ десяткомъ
Стражей Квакунъ посылаетъ хорунжаго *Пышку* провѣдать,
Кто незваные гости: когда непріятели, взять ихъ,
Если дадутся; когда же сосѣди, пришедшіе съ миромъ,
Дружески ихъ пригласить къ царю на бесѣду. Сошедши
Пышка съ холма и увидя гостей, въ минуту узналъ ихъ:
Это мыши—неважное дѣло! Но мнѣ не случалось
Бѣлыхъ межъ ними видать, и это чудо. „Смотрите жь,“
Спутникамъ тутъ онъ сказалъ, „никого не обидѣть. Я съ ними
Самъ на словахъ объяснюся. Увидимъ, что́ скажетъ мнѣ бѣлый.“—
Бѣлый межъ тѣмъ съ удивленьемъ великимъ смотрѣлъ, приподнявши
Уши, на скачущихъ прямо къ нему съ пригорка лягушекъ;
Слуги его хотѣли бѣжать, но онъ удержалъ ихъ,
Выступилъ бодро впередъ и ждалъ скакуновъ; и какъ скоро
Пышка съ своими къ болоту приблизился: „Здравствуй, почтенный
Воинъ,“ сказалъ онъ ему; „прошу не взыскать, что безъ спросу
Вашей воды напился я: мы всѣ отъ охоты устали;
Въ это же время здѣсь никого не нашлось; благодарны
Очень мы вамъ за прекрасный напитокъ; сами готовы
Равнымъ добромъ за ваше добро заплатить; благодарность
Есть добродѣтель возвышенныхъ душъ.“ — Удивленный такою

Умною рѣчью, отвѣтствовалъ Пышка: „Милости просимъ
Къ намъ, благородные гости; нашъ царь, о прибытіи вашемъ
Свѣдавъ, весьма любопытенъ узнать: откуда вы родомъ,
Кто вы и какъ васъ зовутъ. Я посланъ сюда пригласить васъ
Съ нимъ на бесѣду. Рады мы очень, что вамъ показалась
Наша по вкусу вода; а платы не требуемъ: воду
Создалъ Господь для всѣхъ на потребу, какъ воздухъ и солнце.“—
Бѣлая шубка учтиво отвѣтствовалъ: „Царская воля
Будетъ исполнена; радъ я къ его величеству съ вами
Вмѣстѣ пойти, но только сухимъ путемъ, не водою:
Плавать я не умѣю; я царскій сынъ и наслѣдникъ
Царства мышинаго.“—Въ это мгновенье, спустившись съ пригорка,
Царь Квакунъ со свитой своей приближался. Царевичъ
Бѣлая Шубка, увидя царя съ такою толпою,
Нѣсколько струсилъ; ибо не вѣдалъ, доброе-ль, злое-ль
Было у нихъ на умѣ. Квакунъ отличался зеленымъ
Платьемъ, глаза на выкатъ сверкали какъ звѣзды, и пузомъ
Громко онъ, прядая, шлепалъ. Царевичъ Бѣлая Шубка,
Вспомнивши кто онъ, робость свою побѣдилъ. Величаво
Онъ поклонился царю Квакуну. А царь, благосклонно
Лапку подавши ему, сказалъ: „Любезному гостю
Очень мы рады; садись, отдохни; ты изъ дальняго, вѣрно,
Края; ибо до сихъ поръ тебя намъ видать не случалось.“—
Бѣлая Шубка царю поклонился опять, на зеленой
Травкѣ усѣлся съ нимъ рядомъ; а царь продолжалъ: „Разскажи намъ,
Кто ты, кто твой отецъ, кто мать и откуда пришелъ къ намъ;

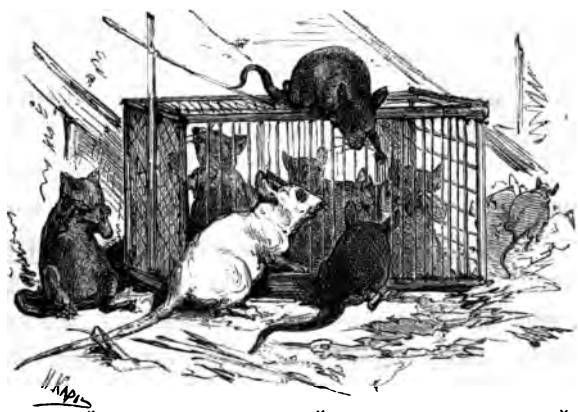
Здѣсь мы тебя угостимъ дружелюбно, когда не таяся
Правду всю скажешь: я царь и много имѣю богатства;
Будетъ намъ сладко почтить дорогаго гостя дарами."—
„Нѣтъ никакой мнѣ причины," отвѣтствовалъ Бѣлая Шубка,
„Царь-государь, утаивать истину. Самъ я породы
Царской, весьма на землѣ знаменитой; отецъ мой—изъ дома
Древнихъ воинственныхъ *Бубликовъ,* царь *Долгохвостъ Иринарій*
Третій; владѣетъ пятью чердаками, наслѣдіемъ славныхъ
Предковъ, но область свою самъ расширилъ войнáми:
Три подполья, одинъ амбаръ и двѣ трети ветчинни
Онъ покорилъ, побѣдивши сосѣднихъ царей; а въ супруги
Взявши царевну *Прасковью-Пискунью Бѣлую Шкурку*,
Цѣлый овинъ получилъ онъ за нею въ приданое. Въ свѣтѣ
Нѣтъ подобнаго царства. Я сынъ царя Долгохвоста,
Петръ Долгохвостъ, по прозванію *Хватъ*. Былъ я воспитанъ
Въ нашемъ столичномъ подпольѣ премудрымъ *Онуфріемъ крысой*,
Мастеръ я рыться въ мукѣ, таскать орѣхи; вскребаюсь
Въ сыръ и множество книгъ ужь изгрызъ, любя просвѣщенье.
Хватомъ же прозванъ я вотъ за какое смѣлое дѣло:
Разъ случилось, что множество насъ молодыхъ мышенятокъ
Бѣгало по полю въ запуски: я, какъ шальной, раззадорясь,
Вспрыгнулъ съ разбѣгу на льва, отдыхавшаго въ полѣ, и въ пышной
Гривѣ запутался; левъ проснулся и лапой огромной
Стиснулъ меня; я подумалъ, что буду раздавленъ какъ мошка.

Съ духомъ собравшись и высунувъ носъ изъ-подъ лапы,
„Левъ-Государь!“ ему я сказалъ, „мнѣ и въ мысль не входило
Милость твою оскорбить; пощади, не губи; неровёнъ часъ,
Самъ я тебѣ пригожуся.“—Левъ улыбнулся (конечно,
Онъ ужь покушать успѣлъ) и сказалъ мнѣ: „Ты, вижу, забавникъ;
Льву услужить ты задумалъ; добро, мы посмотримъ, какую
Милость окажешь ты намъ. Ступай.“—Тогда онъ раздвинулъ
Лапу, а я давай Богъ ноги. Но вотъ что случилось:
Дня не прошло, какъ всѣ мы испуганы были въ подпольяхъ
Нашихъ львинымъ рыканьемъ; смутилась, какъ-будто отъ бури,
Вся сторона; я не струсилъ; выбѣжалъ въ поле, и что же
Въ полѣ увидѣлъ? Царь Левъ, запутавшись въ крѣпкихъ тенетахъ,
Мечется, бьется какъ бѣшеный; кровью глаза налилися;
Лапами рветъ онъ веревки, зубами грызетъ ихъ; и было
Все то напрасно: лишь болѣ себя онъ запутывалъ. „Видишь,
Левъ-государь,“ сказалъ я ему, „что я пригодился.
Будь спокоенъ: въ минуту тебя мы избавимъ.“—И тотчасъ
Созвалъ я дюжину ловкихъ мышатъ; принялись мы работать
Зубомъ; узлы перегрызли тенетъ, и левъ распутлялся.

Важно кивнувъ головою косматой и насъ допустивши

Къ царской лапѣ своей, онъ гриву расправилъ, ударилъ
Сильнымъ хвостомъ по бедрамъ и въ три прыжка очутился
Въ ближнемъ лѣсу, гдѣ въ мигъ и пропалъ. По этому дѣлу
Прозванъ я *Хватомъ*, и славу свою поддержать я стараюсь.
Страшнаго нѣтъ для меня ничего; я знаю, что смѣлымъ
Богъ владѣетъ. Но должно однако признаться, что всюду
Здѣсь мы встрѣчаемъ опасность; такъ Богъ ужь землю устроилъ.
Все здѣсь воюетъ: съ травою Овца, съ Овцою голодный
Волкъ, Собака съ Волкомъ, съ Собакой Медвѣдь, а съ Медвѣдемъ
Левъ; Человѣкъ же и Льва, и Медвѣдя, и всѣхъ побѣждаетъ.
Такъ и у насъ, отважныхъ мышей, есть много опасныхъ
Сильныхъ гонителей: Совы, Ласточки, Кошки, и всѣхъ ихъ
Злѣе козни людскія. И тяжко подъ часъ намъ приходитъ.
Я однако спокоенъ: я помню, что мнѣ мой наставникъ
Мудрый, крыса-Онуфрій, твердилъ: „Бѣды насъ смиренью
Учатъ...“ Съ вѣрой такою ничто не бѣда. Я доволенъ
Тѣмъ, что имѣю: счастію радъ, а въ несчастьи не хмурюсь.“—
Царь Квакунъ со вниманіемъ слушалъ Петра Долгохвоста.
„Гость дорогой,“ сказалъ онъ ему, „признаюсь откровенно
Столь разумныя рѣчи меня въ изумленье приводятъ.
Мудрость такая въ такія цвѣтущія лѣта! Мнѣ сладко
Слушать тебя: и пріятность и польза! Теперь опиши мнѣ
То, что́ случалось когда съ мышинымъ вашимъ народомъ,
Что́ отъ враговъ вы терпѣли, и съ кѣмъ когда воевали.“—
„Долженъ я прежде о томъ разсказать, какія намъ козни
Строитъ нашъ хитрый двуногій злодѣй, Человѣкъ. Онъ ужасно
Жаденъ; онъ хочетъ всю землю заграбить одинъ, и съ мышами

Въ вѣчной враждѣ. Не исчислить всѣхъ выдумокъ хитрыхъ, какими
Наше онъ племя избыть замышляетъ. Вотъ, напримѣръ, онъ
Домикъ затѣялъ построить: два входа, широкій и узкій;
Узкій задѣланъ рѣшеткой, широкій съ подъемною дверью.
Домикъ онъ этотъ поставилъ у самаго входа въ подполье.
Намъ же съ дуру на мысли взбрело, что, поладить
Съ нами желая, для насъ учредилъ онъ гостинницу. Жирный
Кусъ ветчины тамъ висѣлъ и манилъ насъ: вотъ цѣлый десятокъ
Смѣлыхъ охотниковъ вызвались: въ домикъ забраться, безъ платы
Въ немъ отобѣдать и вѣрныя вѣсти принесть намъ.
Входятъ они; но только-что начали дружно висячій
Кусъ ветчины тормошить, какъ подъемная дверь съ превеликимъ
Стукомъ упала и всѣхъ ихъ захлопнула. Тутъ поразило



Страшное зрѣлище насъ: увидѣли мы, какъ злодѣи
Нашихъ героевъ таскали за хвостъ и въ воду бросали!
Всѣ они пали жертвой любви къ ветчинѣ и къ отчизнѣ...
Было нѣчто и хуже. Двуногій злодѣй наготовилъ

Множество вкусныхъ для насъ пирожковъ и расклалъ ихъ,
Словно какъ добрый, по всѣмъ закоулкамъ. Народъ нашъ
Очень довѣрчивъ и вѣтренъ; мы лакомки: бросилась жадно
Вся молодежь на добычу. Но что же случилось! Объ этомъ
Вспомнить—морозъ подираетъ по кожѣ! Открылся въ подпольѣ
Моръ: отравой злодѣй угостилъ насъ. Какъ-будто шальные
Съ пиру пришли удальцы: глаза на выкатъ, разинувъ
Рты; умирая отъ жажды, взадъ и впередъ по подполью
Бѣгали съ пискомъ они, родныхъ, друзей и знакомыхъ
Болѣ не зная въ лицо; наконецъ, утомясь, обезсилѣвъ,
Всѣ попáдали мертвые, лапками вверхъ; запустѣла
Цѣлая область отъ этой бѣды; отъ ужаснаго смрада
Труповъ ушли мы въ другое подполье, и край нашъ родимый
Нáдолго былъ обезмышенъ. Но главное бѣдствіе наше
Нынѣ въ томъ, что губитель двуногій крѣпко сдружился
Намъ ко вреду съ сибирскимъ котомъ *Ѳедотомъ Мурлыкой*.
Кóшачій родъ давно враждуетъ съ мышинымъ. Но этотъ
Хитрый котище Ѳедотъ Мурлыка для насъ наказанье
Божіе. Вотъ какъ я съ нимъ познакомился. Глупымъ мышенкомъ
Былъ я еще и не зналъ ничего. И мнѣ захотѣлось
Высунуть носъ изъ подполья. Но мать царица-Прасковья
Съ крысой-Онуфріемъ крѣпко-нá-крѣпко мнѣ запретили
Норку мою покидать; но я не послушался, въ щелку
Выглянулъ: вижу камнемъ выстланный дворъ; освѣщало
Солнце его, и окна огромнаго дома свѣтúлись;
Птицы летали и пѣли. Глаза у меня разбѣжались.
Выдти не смѣя, смотрю я изъ щелки и вижу: на дальнемъ
Краѣ двора звѣрокъ усастый, сизая шкурка,
Розовый носъ, зеленые глазки, пушистыя уши,

Тихо сидитъ и за птичками смотритъ; а хвостикъ, какъ змѣйка,

Такъ и виляетъ. Потомъ онъ своею бархатною лапкой
Началъ усатое рыльце себѣ умывать. Облилося
Радостью сердце мое, и я ужь сбирался покинуть
Щелку, чтобъ съ милымъ звѣркомъ познакомиться. Вдругъ зашумѣло
Что-то вблизи; оглянувшись, та́къ я и обмеръ. Какой-то
Страшный уродъ ко мнѣ подходилъ; широко шагая,
Черныя ноги свои подымалъ онъ, и когти кривые
Съ острыми шпорами были на нихъ; на уродливой шеѣ
Длинныя косы висѣли змѣями; носъ крючковатый;

Пóдъ носомъ трясся какой-то мохнатый мѣшокъ и какъ-
будто
Красный съ зубчатой верхушкой колпакъ, съ головы пе-
регнувшись,
Пó носу бился, а сзади какіе-то длинные крючья
Разнаго цвѣта торчали снопомъ. Не успѣлъ я отъ страха
Въ память придти, какъ съ обоихъ боковъ поднялись у
урода
Словно какъ парусы, начали хлопать, и онъ, раздвоивши
Острый носъ свой, такъ заоралъ, что меня какъ дубиной
Треснуло. Какъ прибѣжалъ я назадъ въ подполье, не помню.
Крыса-Онуфрій, услышавъ о томъ, чтó случилось со мною,
Такъ и ахнулъ. „Тебя помиловалъ Богъ,“ онъ сказалъ мнѣ;
„Свѣчку ты долженъ поставить уроду, который такъ кстати
Крикомъ своимъ тебя испугалъ; вѣдь это нашъ добрый
Сторожъ пѣтухъ; онъ горланъ и съ своими большой забіяка;
Намъ же, мышамъ, онъ приноситъ и пользу: когда за-
кричитъ онъ,
Знаемъ мы всѣ, что проснулись наши враги; а пріятель,
Такъ обольстившій тебя своей лицемѣрною харей,
Былъ не иной кто, какъ нашъ злодѣй записной, объѣдало
Котъ Мурлыка: хорошъ бы ты былъ, когда бы съ зна-
комствомъ
Къ этому плуту подъѣхалъ: тебя бъ онъ порядкомъ по-
гладилъ
Бархатной лапкой своею; будь же впередъ остороженъ.“—
Долго разсказывать мнѣ объ этомъ проклятомъ Мурлыкѣ;
Каждый день отъ него недочетъ. Раскажу я
Только то, чтó случилось недавно. Разнесся въ подпольѣ
Слухъ, что Мурлыку повѣсили. Наши лазутчики сами
Видѣли это глазами своими. Вскружилось подполье:
Шумъ, бѣготня, пискотня, скаканье, кувырканье, пляска!

Словомъ, мы всѣ одурѣли, и самъ мой Онуфрій премудрый
Съ радости такъ напился, что подрался съ царицей и въ дракѣ
Хвостъ у нея откусилъ, за что́ былъ и высѣченъ больно.
Что же случилось потомъ? Не развѣдавши дѣла порядкомъ,
Вздумали мы кота погребать, и надгробное слово
Тотчасъ поспѣло. Его сочинилъ поэтъ нашъ подпольный
Климъ, по прозванію *Бѣшеный Хвостъ;* такое прозванье
Дали ему за то, что, стихи читая, всегда онъ
Въ мѣру вилялъ хвостомъ, и хвостъ, какъ маятникъ, стукалъ.
Все изготовивъ, отправились мы на поминки къ Мурлыкѣ;
Вылѣзло множество насъ изъ подполья; глядимъ мы, и въ-правду
Котъ Мурлыка въ ветчиннѣ виситъ на бревнѣ и повѣшенъ
За ноги, мордою внизъ; оскалены зубы; какъ палка
Вытянутъ весь; и спина, и хвостъ, и переднія лапы
Словно какъ мерзлыя: оба глаза глядятъ не моргая.
Всѣ запищали мы хоромъ: „Повѣшенъ Мурлыка, повѣшенъ
Котъ окаянный! довольно ты, котъ, погулялъ; погуляемъ
Нынче и мы.“—И шесть смѣльчаковъ тотчасъ взобралися
Вверхъ по бревну, чтобъ Мурлыкины лапы распутать; но лапы
Сами держались, когтями вцѣпившись къ бревно, а веревки
Не было тамъ никакой, и лишь только къ нимъ прикоснулись
Наши ребята, какъ вдругъ распустилися когти и на полъ
Хлопнулся котъ, какъ мѣшокъ. Мы всѣ по угламъ раз-бѣжались
Въ страхѣ и смотримъ, что̀ будетъ. Мурлыка лежитъ и не дышетъ,
Усъ не тронется, глазъ не моргнетъ: мертвецъ да и только.
Вотъ, ободрясь, изъ угловъ мы къ нему подступать по-немногу

Начали: кто посмѣлѣе, тотъ дернетъ за хвостъ, да и тягу
Дастъ отъ него; тотъ лапкой ему погрозитъ; тотъ подразнитъ
Сзади его языкомъ; а кто еще посмѣлѣе,
Тотъ, подкравшись, хвостомъ въ носу у него пощекочетъ.
Котъ ни съ мѣста, какъ пень. „Берегитесь," тогда намъ сказала
Старая *мышь-Степанида*, которой Мурлыкины когти
Были знакомы (у ней онъ весь задъ ободралъ и насилу
Какъ-то она отъ него уплела), „берегитесь: Мурлыка
Старый мошенникъ; вѣдь онъ висѣлъ безъ веревки, а это
Знакъ не добрый; и шкура цѣла у него."—То услыша,
Громко мы всѣ засмѣялись. „Смѣйтесь, чтобъ послѣ не плакать,"
Мышь-Степанида сказала опять, „а я не товарищъ
Вамъ."—И поспѣшно, созвавъ мышенятокъ своихъ, убралася
Съ ними въ подполье она. А мы принялись, какъ шальные,
Прыгать, скакать и кота тормошить. Наконецъ, поуставши,
Всѣ мы усѣлись въ кружокъ передъ мордой его, и поэтъ нашъ
Климъ, по прозванью *Бѣшеный Хвостъ*, на Мурлыкино пузо
Взлѣзши, началъ оттуда читать намъ надгробное слово;
Мы же при каждомъ стихѣ хохотать, и вотъ что прочелъ онъ:
„Жилъ Мурлыка; былъ Мурлыка котъ Сибирскій,
Ростъ богатырскій, сизая шкурка, усы какъ у турка;
Былъ онъ бѣшенъ, на кражѣ помѣшанъ, за то и повѣшенъ.
Радуйся, наше подполье!"... Но только успѣлъ проповѣдникъ
Это слово промолвить, какъ вдругъ нашъ покойникъ очнулся.
Мы бѣжать... Куда ты! пошла ужасная травля.
Двадцать изъ насъ осталось на мѣстѣ, а раненыхъ втрое

Болѣе было. Тотъ воротился съ ободраннымъ пузомъ,
Тотъ безъ уха, другой съ отъѣденной мордой; иному
Хвостъ былъ оторванъ; у многихъ такъ страшно искусаны
были
Спины, что шкурки мотались какъ тряпки; царицу-Прас-
ковью
Чуть успѣли въ нору уволочь за заднія лапки;
Царь Иринарій спасся съ рубцемъ на носу; но премудрый
Крыса-Онуфрій съ Климомъ-поэтомъ достались Мурлыкѣ
Прежде другихъ на обѣдъ. Такъ кончился пиръ нашъ
бѣдою...“

В. Жуковскій.

Городокъ въ табакеркѣ.

Папенька поставилъ на столъ табакерку.

— Поди-ка сюда, Миша, посмотрика,—сказалъ онъ.

Миша былъ послушный мальчикъ; тотчасъ оставилъ игрушки и подошелъ къ папенькѣ. Да ужь и было чего посмотрѣть! Какая прекрасная табакерка! пестренькая, изъ черепахи. А что на крышкѣ-то! Ворота, башенки, домикъ, другой, третій, четвертый, и счесть нельзя, и все малъ-мала меньше, и все золотые; а деревья-то также золотыя; а листки на нихъ серебряные; а за деревьями встаетъ солнышко, и отъ него розовые лучи расходятся по всему небу.

— Что это за городокъ?—спросилъ Миша.

— Это городокъ *Динь-динь*,—отвѣчалъ папенька и тронулъ пружинку...

И что же? вдругъ, невидимо гдѣ, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не могъ понять; онъ ходилъ и къ дверямъ—не изъ другой ли комнаты? и къ часамъ—не въ часахъ ли? и къ бюро, и къ горкѣ; при-

слушивался то въ томъ, то въ другомъ мѣстѣ; смотрѣлъ и подъ столъ... Наконецъ Миша увѣрился, что музыка точно играла въ табакеркѣ. Онъ подошелъ къ ней; смотритъ, а изъ-за деревьевъ солнышко выходитъ, крадется тихонько по небу, а небо и городокъ все свѣтлѣе и свѣтлѣе; окошки горятъ яркимъ огнемъ, и отъ башенокъ будто сіяніе. Вотъ солнышко перешло черезъ небо на другую сторону, все ниже, да ниже, и наконецъ, за пригоркомъ совсѣмъ скрылось, и городокъ потемнѣлъ, ставни закрылись, и башенки померкли, только не надолго. Вотъ затеплилась звѣздочка, вотъ другая, вотъ и мѣсяцъ рогатый выглянулъ изъ-за деревьевъ, и въ городкѣ стало опять свѣтлѣе, окошки засеребрились, и отъ башенокъ потянулись синеватые лучи.

— Папенька! папенька! нельзя-ли войти въ этотъ городокъ? куда бы мнѣ хотѣлось!

— Мудрено, мой другъ; этотъ городокъ тебѣ не по росту.

— Ничего, папенька, я такой маленькій; только пустите меня туда; мнѣ такъ-бы хотѣлось узнать, что тамъ дѣлается...

— Право, мой другъ, тамъ и безъ тебя тѣсно.

— Да кто же тамъ живетъ?

— Кто тамъ живетъ? Тамъ живутъ *колокольчики*.

Съ этими словами папенька поднялъ крышку на табакеркѣ, и что же увидѣлъ Миша? И колокольчики, и молоточки, и валикъ, и колеса. Миша удивился.

— Зачѣмъ эти колокольчики? зачѣмъ молоточки? зачѣмъ валикъ съ крючками?—спрашивалъ Миша у папеньки.

А папенька отвѣчалъ:—Не скажу тебѣ, Миша; самъ посмотри попристальнѣе, да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вотъ этой пружинки не трогай, а иначе все изломается.

Папенька вышелъ, а Миша остался надъ табакеркой. Вотъ онъ сидѣлъ, сидѣлъ надъ нею, смотрѣлъ, смотрѣлъ, думалъ, думалъ: отъ чего звенятъ колокольчики?

Между тѣмъ музыка играетъ, да играетъ; вотъ все тише, да тише, какъ-будто что-то цѣпляется за каждую нотку, какъ-будто что-то отталкиваетъ одинъ звукъ отъ другаго. Вотъ Миша смотритъ: внизу табакерки, подъ шалнеромъ, отворяется дверца, и изъ дверцы выбѣгаетъ мальчикъ съ золотою головкою и въ стальной юбочкѣ, останавливается на порогѣ и манитъ къ себѣ Мишу.

„Да отъ чего же", подумалъ Миша, „папенька сказалъ, что въ этомъ городкѣ и безъ меня тѣсно? Нѣтъ, видно, въ немъ живутъ добрые люди; видите, зовутъ меня въ гости.—Извольте, съ величайшею радостію."

Съ этими словами Миша побѣжалъ къ дверцѣ и съ чрезвычайнымъ удивленіемъ замѣтилъ, что дверца ему пришлась точь въ точь по росту. Какъ хорошо воспитанный мальчикъ, онъ почелъ долгомъ, прежде всего, обратиться къ своему провожатому:

— Позвольте узнать,—сказалъ Миша,—съ кѣмъ я имѣю честь говорить?

— Динь, динь, динь,—отвѣчалъ незнакомецъ;— я *мальчикъ-колокольчикъ*, житель этого городка. Мы слышали, что вамъ очень хочется побывать у насъ въ гостяхъ, и потому рѣшились просить васъ сдѣлать намъ честь къ намъ пожаловать. Динь, динь, динь; динь, динь, динь.

Миша учтиво поклонился; *мальчикъ-колокольчикъ* взялъ его за руку, и они пошли. Тутъ Миша замѣтилъ, что надъ ними былъ сводъ, сдѣланный изъ пестрой тисненной бумажки съ золотыми краями. Передъ ними былъ другой сводъ, только поменьше; потомъ третій, еще меньше; четвертый, еще меньше, и такъ всѣ другіе своды, чѣмъ даль-

стрн. 34.

ше, тѣмъ меньше, такъ что въ послѣдній, казалось, едва могла пройти головка его провожатаго.

— Я вамъ очень благодаренъ за ваше приглашеніе,— сказалъ ему Миша;—но не знаю, можно ли будетъ мнѣ имъ воспользоваться. Правда, здѣсь я свободно прохожу, но тамъ дальше, посмотрите, какіе у васъ низенькіе своды; тамъ я, позвольте сказать откровенно, тамъ я и ползкомъ не пройду. Я удивляюсь, какъ и вы подъ ними проходите.

— Динь, динь, динь!—отвѣчалъ мальчикъ,—пройдемъ, не безпокойтесь, ступайте только за мною.

Миша послушался. Въ самомъ дѣлѣ, съ каждымъ ихъ шагомъ, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до послѣдняго свода, тогда *мальчикъ-колокольчикъ* попросилъ Мишу оглянуться назадъ. Миша оглянулся, и что же увидѣлъ? Теперь тотъ первый сводъ, подъ который онъ подошелъ, входя въ дверцы, показался ему маленькимъ, какъ-будто, пока они шли, сводъ опустился. Миша былъ очень удивленъ.

— Отъ чего это?—спросилъ онъ своего проводника.

— Динь, динь, динь!—отвѣчалъ проводникъ, смѣясь;— издали всегда такъ кажется; видно, вы ни на что вдаль со вниманіемъ не смотрѣли; вдали все кажется маленькимъ, а подойдешь—большое.

— Да, это правда,—отвѣчалъ Миша;—я до сихъ поръ не подумалъ объ этомъ, и отъ того вотъ что́ со мною случилось: третьяго дня я хотѣлъ нарисовать, какъ маменька, возлѣ меня, играетъ на фортепіано, а папенька, на другомъ концѣ комнаты, читаетъ книжку. Только этого мнѣ никакъ не удалось сдѣлать: тружусь, тружусь, рисую какъ можно вѣрнѣе, а все на бумагѣ у меня выдетъ, что папенька возлѣ маменьки сидитъ, и кресла его возлѣ

фортепіано стоятъ; а между тѣмъ я очень хорошо вижу, что фортепіано стоятъ возлѣ меня у окошка, а папенька сидитъ на другомъ концѣ у камина. Маменька мнѣ говорила, что папеньку надобно нарисовать маленькимъ, но я думалъ, что маменька шутитъ, потому что папенька гораздо больше ея ростомъ; но теперь вижу, что маменька правду говорила: точно, папеньку надобно было нарисовать маленькимъ, потому что онъ сидѣлъ вдалекѣ. Очень вамъ благодаренъ за объясненіе, очень благодаренъ.

Мальчикъ-колокольчикъ смѣялся изо всѣхъ силъ:

— Динь, динь, динь, какъ смѣшно! Динь, динь, динь, какъ смѣшно! Не умѣть нарисовать папеньку съ маменькой! Динь, динь, динь; динь, динь, динь!

Мишѣ показалось досадно, что *мальчикъ-колокольчикъ* надъ нимъ такъ немилосердно насмѣхается, и онъ очень вѣжливо сказалъ ему:

— Позвольте мнѣ спросить у васъ: зачѣмъ вы къ каждому слову все говорите: динь, динь, динь?

— Ужь у насъ поговорка такая,—отвѣчалъ *мальчикъ-колокольчикъ*.

— Поговорка?—замѣтилъ Миша;—а вотъ папенька говоритъ, что очень нехорошо привыкать къ поговоркамъ.

Мальчикъ-колокольчикъ закусилъ губы и не сказалъ болѣе ни слова.

Вотъ передъ ними еще дверцы; онѣ отворились, и Миша очутился на улицѣ. Что за улица! Что за городокъ! Мостовая вымощена перламутромъ; небо пестренькое, черепаховое; по небу ходитъ золотое солнышко; помянешь его, оно съ неба сойдетъ, вкругъ руки обойдетъ и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцвѣтными раковинками, и подъ каждою крышкою сидитъ *мальчикъ-колокольчикъ* съ золотою головкою, въ

серебряной юбочкѣ, и много ихъ, много, и всѣ малъ-мала меньше.

— Нѣтъ, теперь ужь меня не обманутъ, — сказалъ Миша; — это такъ только мнѣ кажется издали, а колокольчики-то всѣ одинакіе.

— Анъ вотъ и не правда,—отвѣчалъ провожатый:— колокольчики не одинакіе. Еслибы мы всѣ были одинакіе, то и звенѣли бы мы всѣ въ одинъ голосъ, одинъ какъ другой; а ты слышишь, какія мы пѣсни выводимъ. Это отъ того, что кто изъ насъ побольше, у того и голосъ потолще, неужели ты и этого не знаешь? Вотъ видишь ли, Миша, это тебѣ урокъ; впередъ не смѣйся надъ тѣми, у которыхъ поговорка дурная; иной и съ поговоркою, а больше другаго знаетъ, и можно отъ него кое-чему научиться.

Миша въ свою очередь закусилъ язычекъ.

Между тѣмъ ихъ окружили *мальчики-колокольчики*, теребили Мишу за платье, звенѣли, прыгали, бѣгали.

— Весело вы живете,—сказалъ имъ Миша;—вѣкъ бы съ вами остался; цѣлый день вы ничего не дѣлаете; у васъ ни уроковъ, ни учителей, да еще и музыка цѣлый день.

— Динь, динь, динь!—закричали колокольчики;—ужь нашелъ у насъ веселье! Нѣтъ, Миша, плохое намъ житье. Правда, уроковъ у насъ нѣтъ, да что же въ томъ толку? Мы бы уроковъ не побоялися! Вся наша бѣда именно въ томъ, что у насъ, бѣдныхъ, никакого нѣтъ дѣла; нѣтъ у насъ ни книжекъ, ни картинокъ; нѣтъ ни папеньки, ни маменьки; нечѣмъ заняться; цѣлый день играй, да играй, а вѣдь это, Миша, очень, очень скучно. Повѣришь-ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко, и золотыя деревья; но мы, бѣдные, мы насмотрѣ-

лись на нихъ вдоволь. и все это очень намъ надоѣло; изъ городка мы ни пяди, а ты можешь себѣ вообразить, каково цѣлый вѣкъ, ничего не дѣлая, просидѣть въ табакеркѣ, и даже въ табакеркѣ съ музыкою.

— Да,—отвѣчалъ Миша,—вы говорите правду. Это и со мною случается: когда послѣ ученья примешься за игрушки, то такъ весело; а когда, въ праздникъ, цѣлый день все играешь, да играешь, то къ вечеру и сдѣлается скучно; и за ту, и за другую игрушку примешься—все не мило. Я долго не понималъ, отъ чего это, а теперь понимаю.

— Да сверхъ того на насъ есть другая бѣда, Миша, у насъ есть дядьки.

— Какіе же дядьки?—спросилъ Миша.

— *Дядьки-молоточки*,—отвѣчали колокольчики;—ужь какіе злые! то и дѣло, что ходятъ по городу, да насъ постукиваютъ. Которые побольше, тѣмъ еще рѣже *тукъ-тукъ* бываетъ, а ужь маленькимъ куда больно достается.

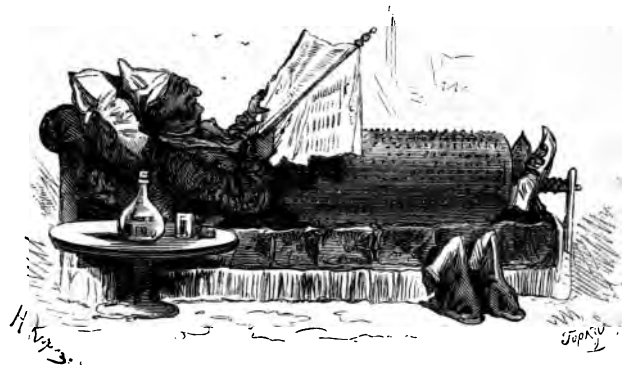
Въ самомъ дѣлѣ, Миша увидѣлъ, что по улицѣ ходили какіе-то господа на тоненькихъ ножкахъ, съ предлинными носами, и шептали между собою: „тукъ, тукъ, тукъ! тукъ, тукъ, тукъ! поднимай! задѣвай! тукъ, тукъ, тукъ! тукъ, тукъ, тукъ!“

И въ самомъ дѣлѣ, *дядьки-молоточки* безпрестанно то по тому, то по другому колокольчику *тукъ*, да *тукъ*, индо бѣдному Мишѣ жалко стало. Онъ подошелъ къ этимъ господамъ, очень вѣжливо поклонился и съ добродушіемъ спросилъ: зачѣмъ они, безъ всякаго сожалѣнія, колотятъ бѣдныхъ мальчиковъ? А молоточки ему въ отвѣтъ:

— Прочь ступай, не мѣшай! Тамъ въ палатѣ и въ халатѣ надзиратель лежитъ и стучать намъ велитъ. Все ворочается, прицѣпляется. Тукъ, тукъ, тукъ! тукъ, тукъ, тукъ!

— Какой это у васъ надзиратель?—спросилъ Миша у колокольчиковъ.

— А это г. *Валикъ*,—зазвенѣли они;—предобрый человѣкъ, день и ночь съ дивана не сходитъ; на него мы не можемъ пожаловаться.



Миша къ надзирателю. Смотритъ: онъ съ самомъ дѣлѣ лежитъ на диванѣ, въ халатѣ, и съ боку на бокъ переворачивается, только все лицомъ къ верху. А по халату-то у него шпильки, крючечки видимо-невидимо: только-что попадется ему молотокъ, онъ его крючкомъ сперва зацѣпитъ, потомъ спуститъ, а молоточекъ-то и стукнетъ по колокольчику.

Только-что Миша къ нему подошелъ, какъ надзиратель закричалъ:

— Шуры-муры! кто здѣсь ходитъ? кто здѣсь бродитъ? Шуры-муры! кто прочь нейдетъ? кто мнѣ спать не даетъ? Шуры-муры, шуры-муры!

— Это я,— храбро отвѣчалъ Миша;—я—Миша...

— А что тебѣ надобно?—спросилъ надзиратель.

— Да мнѣ жаль бѣдныхъ *мальчиковъ-колокольчиковъ*; они всѣ такіе умные, такіе добрые, такіе музыканты, а, по вашему приказанію, дядьки ихъ безпрестанно постукиваютъ...

— А мнѣ какое дѣло, шуры-муры! Не я здѣсь на́большій. Пусть себѣ дядьки стукаютъ мальчиковъ! Мнѣ что за дѣло! Я надзиратель добрый, все на диванѣ лежу и ни за кѣмъ не гляжу... Шуры-муры, шуры-муры...

„Ну, многому же я научился въ этомъ городкѣ!“ сказалъ про себя Миша. „Вотъ еще иногда мнѣ бываетъ досадно, зачѣмъ надзиратель съ меня глазъ не спускаетъ! Экой злой! думаю я; вѣдь онъ не папенька и не маменька; что ему за дѣло, что я шалю? Зналъ бы, сидѣлъ въ своей комнатѣ. Нѣтъ, теперь вижу, что́ бываетъ съ бѣдными мальчиками, когда за ними никто не смотритъ.“

Между тѣмъ Миша пошелъ далѣе—и остановился.

Смотритъ: золотой шатеръ съ жемчужною бахрамою; наверху золотой флюгеръ вертится, будто вѣтреная мельница, а подъ шатромъ лежитъ *Царевна-пружинка* и, какъ

змѣйка, то свернется, то развернется и безпрестанно надзирателя подъ бокъ толкаетъ. Миша этому очень удивился и сказалъ ей:

— Сударыня-Царевна! Зачѣмъ вы надзирателя подъ бокъ толкаете?

— Зицъ, зицъ, зицъ,—отвѣчала Царевна;—глупый ты мальчикъ, неразумный мальчикъ! На все смотришь, ничего не видишь! Кабы я валикъ не толкала, валикъ бы не вертѣлся; кабы валикъ не вертѣлся, то онъ за молоточки бы не цѣплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенѣли; кабы колокольчики не звенѣли, и музыки бы не было! Зицъ, зицъ, зицъ.

Мишѣ захотѣлось узнать, правду-ли говоритъ Царевна, наклонился и прижалъ ее пальчикомъ—и что же? Въ одно мгновеніе пружинка съ силою развилась, валикъ сильно завертѣлся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдругъ пружинка лопнула. Все умолкло, валикъ остановился, молоточки попáдали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались... Тогда Миша вспомнилъ, что папенька не приказывалъ ему трогать пружинки, испугался и... проснулся.

— Чтó во снѣ видѣлъ, Миша?—спросилъ папенька.

Миша долго не могъ опамятоваться. Смотритъ: та-же папенькина комната, та-же передъ нимъ табакерка; возлѣ него сидятъ папенька и маменька и смѣются.

— Гдѣ же *мальчикъ-колокольчикъ?* Гдѣ *Дядька-молоточекъ?* Гдѣ *Царевна-пружинка?*—спрашивалъ Миша.— Такъ это было сонъ?

— Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здѣсь порядочно вздремнулъ; разскажи же намъ, по крайней мѣрѣ, чтó тебѣ приснилось?

— Да видите, папенька,—сказалъ Миша, протирая глазки;—мнѣ все хотѣлось узнать, отъ чего музыка въ табакеркѣ играетъ; вотъ я принялся на все прилежно смотрѣть и разбирать, что́ въ ней движется и отъ чего движется; думалъ, думалъ и сталъ уже добираться—какъ вдругъ, смотрю, дверца въ табакеркѣ растворилась...— Тутъ Миша разсказалъ весь свой сонъ по порядку.

— Ну, теперь вижу, — сказалъ папенька,—что ты въ самомъ дѣлѣ почти понялъ, отъ чего музыка въ табакеркѣ играетъ; но ты это еще лучше поймешь, когда будешь учиться *Механикѣ*.

Кн. В. Одоевскій (Дѣдушка Ириней).

Черная курица.

Много лѣтъ тому назадъ, когда въ Петербургѣ было еще не мало деревянныхъ зданій, вмѣсто нынѣшнихъ каменныхъ громадъ, въ одномъ изъ такихъ деревянныхъ домовъ на Васильевскомъ Острову, въ первой линіи, былъ мужской пансіонъ. Въ числѣ тридцати или сорока дѣтей, обучавшихся въ томъ пансіонѣ, находился одинъ мальчикъ, по имени Алеша, которому тогда было не болѣе 9 или 10 лѣтъ. Родители его, жившіе далеко, далеко отъ Петербурга, года за два передъ тѣмъ привезли его въ столицу, отдали въ пансіонъ,

и возвратились домой, заплативъ учителю условленную плату за нѣсколько лѣтъ впередъ.

Въ первое время Алешѣ было очень скучно; но мало по малу онъ сталъ привыкать къ своему положенію: ученіе не давало ему много думать о родительскомъ домѣ. Зато когда наступала суббота, и всѣ товарищи его спѣшили домой къ роднымъ, Алеша горько чувствовалъ свое одиночество. По воскресеньямъ и праздникамъ онъ весь день оставался одинъ, и тогда единственнымъ утѣшеніемъ его было чтеніе книгъ, которыя учитель позволялъ ему брать изъ небольшой своей библіотеки. Учитель былъ родомъ нѣмецъ, а въ то время у нѣмецкихъ писателей была особенная мода на рыцарскіе романы и волшебныя повѣсти; и библіотека, которою пользовался Алеша, большею частью состояла изъ такихъ книгъ.

Такимъ образомъ Алеша, еще на десятомъ году, зналъ наизустъ подвиги главнѣйшихъ рыцарей — по крайней мѣрѣ та́къ, ка́къ они описаны были въ романахъ. Въ длинные зимніе вечера, по воскресеньямъ и другимъ праздничнымъ днямъ, любимымъ его занятіемъ было передумывать прочитанное, мысленно бродить по рыцарскимъ за́мкамъ, по страшнымъ развалинамъ или по темнымъ дремучимъ лѣсамъ.

Домъ, гдѣ помѣщался пансіонъ, былъ хоть деревянный, но двухъ-этажный. Въ верхнемъ жильѣ, съ одной стороны довольно крутой лѣстницы, жилъ содержатель пансіона, а съ другой были классы. Дортуары или спальныя комнаты дѣтей находились въ нижнемъ этажѣ по правую сторону сѣней, а по лѣвую жили двѣ старушки голландки, изъ которыхъ каждой было болѣе ста лѣтъ и которыя чуть ли не собственными глазами видали еще Петра Великаго, строителя Петербурга. Алеша никогда

у нихъ не бывалъ, но слыхалъ, что комнаты у нихъ убраны по старинному. Чѣмъ чаще онъ думалъ объ этихъ комнатахъ, тѣмъ таинственнѣй и чудеснѣй онѣ ему представлялись, тѣмъ болѣе ему хотѣлось побывать въ нихъ.

Было у Алеши и еще одно развлеченіе: кормить на дворѣ курочекъ, которыя жили тамъ, около деревяннаго забора, въ нарочно для нихъ выстроенномъ домикѣ, и цѣлый день играли и бѣгали пó двору. Алеша очень коротко съ ними познакомился, всѣхъ зналъ по имени, разнималъ ихъ драки, а забіякъ наказывалъ тѣмъ, что иногда нѣсколько дней сряду не давалъ имъ ничего отъ крошекъ, которыя всегда послѣ обѣда и ужина онъ собиралъ со скатерти. Между курами онъ особенно любилъ одну черную хохлатую, названную *Чернушкою*. Чернушка была къ нему ласковѣе другихъ; она даже иногда позволяла себя гладить, и потому Алеша лучшіе кусочки приносилъ ей.

Однажды въ рождество, въ солнечный и довольно теплый день (было не болѣе трехъ или четырехъ градусовъ морозу), Алешѣ позволили опять поиграть на дворѣ. По обыкновенію своему, онъ присѣлъ на бревно и только что началъ манить къ себѣ курочекъ, какъ вдругъ увидѣлъ подлѣ себя кухарку съ большимъ ножемъ. Алешѣ никогда не нравилась эта кухарка—сердитая и бранчивая чухонка; но съ тѣхъ поръ, какъ онъ замѣтилъ, что она-то была причиною, что отъ времени до времени уменьшалось число его курочекъ, онъ еще менѣе сталъ ее любить. Когда-же однажды нечаянно увидѣлъ онъ въ кухнѣ одного хорошенькаго, очень любимаго имъ пѣтушка, повѣшеннаго за ноги съ перерѣзаннымъ горломъ,—то почувствовалъ къ ней ужасъ и отвращеніе. Увидѣвъ ее теперь съ ножемъ, онъ тотчасъ догадался, чтó это значитъ,—и съ

горя, что онъ не въ силахъ помочь своимъ друзьямъ, вскочилъ и побѣжалъ далеко прочь.

— Алеша, Алеша! помоги мнѣ поймать курицу!— кричала кухарка; но Алеша принялся бѣжать еще пуще, спрятался у забора за курятникомъ, и самъ не замѣчалъ, какъ слезки одна за другою выкатывались изъ его глазъ и упадали на землю.

Довольно долго стоялъ онъ у курятника, и сердце въ немъ сильно билось, между тѣмъ какъ кухарка бѣгала по двору, то манила курочекъ: „цыпъ, цыпъ, цыпъ!", то бранила ихъ по-чухонски.

Вдругъ сердце у Алеши еще сильнѣе забилось... ему послышался голосъ любимой его Чернушки!—Она кудахтала самымъ отчаяннымъ образомъ и ему показалось, что она кричитъ:

„Куда́хъ, куда́хъ, куду́ху,
Алеша, спаси чернуху!
Куду́ху, куду́ху,
Чернуху, чернуху!"

Алеша никакъ не могъ долѣе оставаться на своемъ мѣстѣ... онъ, громко всхлипывая, побѣжалъ къ кухаркѣ, и бросился къ ней на шею въ ту самую минуту, какъ она поймала уже Чернушку за крыло.

— Любезная, милая Тринушка!—вскричалъ онъ обливаясь слезами;—пожалуйста, не тронь мою чернуху!

Алеша такъ неожиданно бросился на шею кухаркѣ, что она упустила изъ рукъ Чернушку, которая, воспользовавшись этимъ, отъ страха взлетѣла на кровлю сарая, и тамъ продолжала куда́хтать. — Но Алешѣ теперь слышалось, будто она дразнитъ кухарку, и кричитъ:

„Куда́хъ, куда́хъ, куду́ху,
Не поймала ты чернуху!

Куду́ху, куду́ху,
Чернуху, чернуху!“

Между тѣмъ, кухарка была внѣ себя отъ досады, хотѣла бѣжать къ учителю; но Алеша не допустилъ ее. Онъ прицѣпился къ поламъ ея платья, и такъ умильно сталъ просить, что она остановилась.

— Душенька, Тринушка!—говорилъ онъ:—ты такая милая, добренькая... Пожалуйста, оставь мою Чернушку!— Вотъ посмотри, что́ я тебѣ подарю, если ты будешь добра!

Алеша вынулъ изъ кармана имперіалъ, составлявшій все его имѣніе, который берегъ онъ пуще глаза своего, потому, что это былъ подарокъ доброй его бабушки... Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взоромъ окошки дома, чтобъ удостовѣриться, что никто ихъ не

видитъ,—и протянула руку за имперіаломъ... Алешѣ очень, очень жаль было имперіяла, но онъ вспомнилъ о Чернушкѣ—и съ твердостію отдалъ чухонкѣ драгоцѣнный подарокъ.

Такимъ образомъ Чернушка спасена была отъ жестокой и неминуемой смерти.

Лишь только кухарка удалилась въ домъ, Чернушка слетѣла съ кровли и подбѣжала къ Алешѣ. Она какъ-будто знала, что онъ ея избавитель: кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселымъ голосомъ. Все утро она ходила за нимъ по двору, какъ собачка, и казалось, будто хочетъ что-то сказать ему, да не можетъ. По крайней мѣрѣ онъ никакъ не могъ разобрать ея кудахтанья.

Въ этотъ день у учителя были гости. Алеша долженъ былъ нарядиться по праздничному и каждому шаркнуть ногой. Въ другое время его занимали и пестрая толпа гостей, и шумный говоръ за столомъ, и разукрашенный окорокъ, и особенно десертъ: разнаго рода варенья и фрукты. Но сегодня онъ думалъ все объ одномъ—о черной курицѣ. Ему все представлялось, какъ кухарка за нею бѣгала съ ножомъ, и какъ Чернушка кудахтала разными голосами. Притомъ ему очень досадно было, что не могъ онъ разобрать, что́ она ему сказать хотѣла...

Прежде, чѣмъ разъѣхались гости, Алеша пошелъ въ нижній этажъ, въ спальню, раздѣлся, легъ въ постель и потушилъ огонь. Долго не могъ онъ заснуть. Ночь была мѣсячная, и, сквозь ставни, неплотно затворявшіяся, упадалъ въ комнату блѣдный лучъ луны. Алеша лежалъ съ открытыми глазами и долго слушалъ, какъ въ верхнемъ жильѣ, надъ его головою, ходили по комнатамъ... Незамѣтно, однако, онъ забылся и задремалъ. Но вотъ опять вверху громко задвигали стульями: гости, видно, стали

разъѣзжаться. Наконецъ все затихло... Онъ взглянулъ на стоявшую подлѣ него кровать, немного освѣщенную мѣсячнымъ сіяніемъ, и замѣтилъ, что бѣлая простыня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Онъ пристальнѣе сталъ всматриваться... ему послышалось, какъ будто что-то подъ кроватью царапается,—и, немного погодя, показалось, что кто-то тихимъ голосомъ зоветъ его: „Алеша, Алеша!"

Алеша испугался!... Онъ одинъ былъ въ комнатѣ,—и ему тотчасъ пришло на мысль, что подъ кроватью долженъ быть воръ. Но потомъ, разсудивъ, что воръ не называлъ бы его по имени, онъ нѣсколько ободрился, хотя сердце въ немъ дрожало. Онъ немного приподнялся въ постелѣ, и еще яснѣе увидѣлъ, что простыня шевелится... еще внятнѣе услышалъ, что кто-то говоритъ: „Алеша, Алеша!"

Вдругъ бѣлая простыня приподнялась, и изъ подъ нее вышла... черная курица!

— Ахъ! это ты, Чернушка?—невольно вскричалъ Алеша.—Какъ ты зашла сюда?

Чернушка захлопала крыльями, взлетѣла къ нему на кровать, и сказала человѣческимъ голосомъ:

— Это я, Алеша! Ты не боишься меня, не правда-ли?

— Зачѣмъ я тебя буду бояться?—отвѣчалъ онъ:—я тебя люблю; только мнѣ странно, что ты такъ хорошо говоришь: я совсѣмъ не зналъ, что ты говорить умѣешь!

— Если ты меня не боишься,—продолжала курица,—такъ поди за мною; я тебѣ покажу что-нибудь хорошенькое. Одѣвайся скорѣе!

Алеша проворно одѣлся и пошелъ смѣло за Чернушкой. Изъ глазъ ея выходили какъ-будто лучи, которые освѣщали все вокругъ нихъ. Они прошли чрезъ переднюю...

— Дверь заперта ключемъ,—сказалъ Алеша; но ку-

рочка ему не отвѣчала: она хлопнула крыльями, и дверь сама собою отворилась... Потомъ, пройдя чрезъ сѣни, обратились они къ комнатамъ, гдѣ жили столѣтнія старушки, голландки. Курочка опять хлопнула крыльями, и дверь въ старушкины покои отворилась. Алеша въ первой комнатѣ увидѣлъ всякаго рода странныя мебели: рѣзные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была изъ голландскихъ изразцевъ, на которыхъ нарисованы были синей мурáвой люди и звѣри. Алеша хотѣлъ было остановиться, чтобъ разсмотрѣть мебели, а особливо фигуры на лежанкѣ, но Чернушка ему не позволила. Они вошли во вторую комнату—и тутъ-то Алеша обрадовался! Въ прекрасной золотой клѣткѣ сидѣлъ большой сѣрый попугай съ краснымъ хвостомъ. Алеша тотчасъ хотѣлъ подбѣжать къ нему. Чернушка опять его не допустила.

— Не трогай здѣсь ничего,—сказала она.—Берегись разбудить старушекъ!

Тутъ только Алеша замѣтилъ, что подлѣ попугая стояла кровать съ бѣлыми кисейными занавѣсками, сквозь которыя онъ могъ различить старушку, лежавшую съ за-

стрн. 51.

крытыми глазами: она показалась ему какъ-будто восковая. Въ другомъ углу стояла такая-же точно кровать, гдѣ спала другая старушка, а подлѣ нея сидѣла сѣрая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо ея, Алеша не могъ утерпѣть, чтобъ не попросить у ней лапки...

Вдругъ она замяукала, попугай нахохлился и началъ громко кричать: „Дуракъ! дуракъ!"—Въ то самое время видно было сквозь кисейныя занавѣски, что старушки приподнялись въ постелѣ!...

Чернушка поспѣшно удалилась; Алеша побѣжалъ за нею; дверь вслѣдъ за ними сильно захлопнулась... и еще долго слышно было, какъ попугай кричалъ: „Дуракъ! дуракъ!"

— Какъ тебѣ не стыдно!—сказала Чернушка, когда они удалились отъ комнатъ старушекъ.—Ты вѣрно разбудилъ рыцарей...

— Какихъ рыцарей?—спросилъ Алеша.

— Ты увидишь,—отвѣчала курочка.—Не бойся, однако-жь, ничего: иди за мною смѣло.

Они спустились внизъ по лѣстницѣ, какъ-будто въ погребъ, и долго, долго шли по разнымъ переходамъ и корридорамъ, которыхъ прежде Алеша никогда не видывалъ. Иногда корридоры эти такъ были низки и узки, что Алеша принужденъ былъ нагибаться. Вдругъ вошли они въ залу, освѣщенную тремя большими хрустальными люстрами. Зала была безъ окошекъ, и по обѣимъ сторонамъ висѣли на стѣнахъ рыцари въ блестящихъ латахъ, съ большими перьями на шлемахъ, съ копьями и щитами въ желѣзныхъ рукахъ. Чернушка шла впередъ на цыпочкахъ, и Алешѣ велѣла слѣдовать тихонько, тихонько... Въ концѣ залы была большая дверь изъ свѣтлой желтой

мѣди. Лишь только они подошли къ ней, какъ соскочили со стѣнъ два рыцаря, ударили копьями объ щиты, и бросились на черную курицу. Чернушка подняла хохолъ, распустила крылья... вдругъ сдѣлалась большая, большая, выше рыцарей—и начала съ ними сражаться! Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась крыльями и носомъ. Алешѣ сдѣлалось страшно, сердце въ немъ сильно затрепетало—и онъ упалъ въ обморокъ.

Когда пришелъ онъ опять въ себя, солнце сквозь ставни освѣщало комнату, и онъ лежалъ въ своей постелѣ: не видно было ни Чернушки, ни рыцарей. Алеша долго не могъ опомниться. Онъ не понималъ, что́ съ нимъ было ночью: во снѣ ли все то видѣлъ, или въ самомъ дѣлѣ это происходило? Онъ одѣлся и пошелъ вверхъ; но у него не выходило изъ головы видѣнное имъ въ прошлую ночь. Съ нетерпѣніемъ ожидалъ онъ минуты, когда можно ему будетъ идти играть на дворъ; но весь тотъ день, какъ нарочно, шелъ сильный снѣгъ, и нельзя было и подумать, чтобъ выйдти изъ дому.

За обѣдомъ учительша, между прочими разговорами, объявила мужу, что черная курица непонятно куда спряталась. Алеша чуть-чуть не заплакалъ, хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтобъ ее нигдѣ не находили, нежели чтобъ попала она на кухню.

Настало время ложиться спать, и Алеша съ нетерпѣніемъ раздѣлся и легъ въ постель. Не успѣлъ онъ взглянуть на сосѣднюю кровать, опять освѣщенную тихимъ луннымъ сіяніемъ, какъ зашевелилась бѣлая простыня—точно такъ, какъ наканунѣ... Опять послышался ему голосъ, его зовущій: „Алеша, Алеша!“ и изъ-подъ кровати вышла Чернушка и взлетѣла къ нему на постель.

— Ахъ! здравствуй, Чернушка!—вскричалъ онъ внѣ

себя отъ радости.—Я боялся, что никогда тебя не увижу; здорова ли ты?

— Здорова,—отвѣчала курочка,—но чуть было не занемогла по твоей милости. Вчера я говорила тебѣ, чтобъ ты ничего не трогалъ въ комнатахъ старушекъ; не смотря на то, ты не могъ утерпѣть, чтобъ не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушекъ, старушки рыцарей—и я насилу съ ними сладила!

— Виноватъ, любезная Чернушка; впередъ не буду! пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда; ты увидишь, что я буду послушенъ.

— Хорошо,—сказала курочка:—увидимъ!

Алеша опять одѣлся и пошелъ за курицею. Опять вошли они въ покои старушекъ; но въ этотъ разъ, онъ ужь ни до чего не дотрогивался. Когда они проходили чрезъ первую комнату, то ему показалось, что люди и звѣри, нарисованные на лежанкѣ, дѣлаютъ разныя смѣшныя гримасы и манятъ его къ себѣ; но онъ нарочно отъ нихъ отвернулся. Во второй комнатѣ, старушки голландки, такъже, какъ наканунѣ, лежали въ постеляхъ, будто восковыя; попугай смотрѣлъ на Алешу и хлопалъ глазами, сѣрая кошка опять умывалась лапками. На уборномъ столѣ передъ зеркаломъ, Алеша увидѣлъ двѣ фарфоровыя китайскія куклы, которыхъ вчера онъ не замѣтилъ. Онѣ кивали ему головою; но онъ помнилъ приказаніе Чернушки—и прошелъ не останавливаясь, однако не могъ утерпѣть, чтобъ мимоходомъ имъ не поклониться. Куколки тотчасъ соскочили со стола и побѣжали за нимъ, все кивая головою. Чуть-чуть онъ не остановился,—такъ онѣ показались ему забавными; но Чернушка оглянулась на него съ сердитымъ видомъ, и онъ опомнился. Куколки про-

водили ихъ до дверей, и видя, что Алеша на нихъ не смотритъ, возвратились на свои мѣста.

Опять спустились они съ лѣстницы, ходили по переходамъ и корридорамъ, и пришли въ ту-же залу, освѣщенную тремя хрустальными люстрами. Тѣ-же рыцари висѣли на стѣнахъ, и опять—когда приблизились они къ двери изъ желтой мѣди—два рыцаря сошли со стѣны и заступили имъ дорогу. Казалось, однако, что они не такъ сердиты были, какъ наканунѣ; они едва тащили ноги, какъ осеннія мухи, и видно было, что они черезъ силу держали свои копья... Чернушка сдѣлалась большая и нахохлилась; но только-что ударила ихъ крыльями, какъ они разсыпались на части,—и Алеша увидѣлъ, что то были пустыя латы! Мѣдная дверь сама собою отворилась, и они вошли въ другую залу, пространную, но невысокую, такъ, что Алеша могъ достать рукою до потолка.

Зала эта, богато убранная, была ярко освѣщена тысячами маленькихъ свѣчей; а въ концѣ ея, подъ зеленымъ балдахиномъ, на возвышенномъ мѣстѣ, стояли кресла изъ золота. Но какъ эти кресла, такъ и все прочее убранство комнаты было въ самомъ маленькомъ видѣ, какъ для небольшихъ куколъ.

Тутъ отворилась маленькая дверь, прежде незамѣченная Алешей, и вошло множество маленькихъ людей, ростомъ не болѣе, какъ съ полъ-аршина, въ нарядныхъ разноцвѣтныхъ платьяхъ, въ круглыхъ, съ перьями, шляпахъ. Въ глубокомъ молчаніи стали они къ стѣнамъ въ два ряда и сняли шляпы. За ними попарно, тихимъ маршемъ вошли двадцать маленькихъ рыцарей, въ золотыхъ латахъ, съ пунцовыми на шлемахъ перьями, и стали по обѣимъ сторонамъ креселъ. Немного погодя вошелъ въ залу человѣкъ съ величественною осанкою, на головѣ

съ вѣнцомъ, блестящимъ драгоцѣнными камнями. На немъ была свѣтлозеленая мантія, подбитая мышьимъ мѣхомъ, съ длиннымъ шлейфомъ, который несли двадцать маленькихъ пажей, въ пунцовыхъ платьяхъ.

Алеша тотчасъ догадался, что это долженъ быть король. Онъ низко ему поклонился. Король отвѣчалъ на поклонъ его весьма ласково и сѣлъ въ золотыя кресла. Потомъ рукою кивнулъ Алешѣ. Алеша подошелъ ближе.

— Мнѣ давно было извѣстно,—сказалъ король,—что ты добрый мальчикъ; но третьяго дня ты оказалъ великую услугу моему народу, и за то заслуживаешь награду. Мой главный министръ донесъ мнѣ, что ты спасъ его отъ неизбѣжной и жестокой смерти.

— Когда?—спросилъ Алеша съ удивленіемъ.

— Третьяго дня на дворѣ,—отвѣчалъ король.—Вотъ тотъ, который обязанъ тебѣ жизнью.

Алеша взглянулъ на того, на котораго указывалъ король, и тутъ только замѣтилъ, что между придворными стоялъ маленькій человѣкъ, одѣтый весь въ черное. На головѣ у него была особеннаго рода шапка малиноваго цвѣта, наверху съ зубчиками, надѣтая немного на бокъ; а на шеѣ бѣлый платокъ, очень накрахмаленный, отъ чего казался онъ немного синеватымъ. Онъ умильно улыбался, глядя на Алешу, и Алеша увидѣлъ, что то была его любезная Чернушка!

— Скажи мнѣ, чего ты желаешь?—продолжалъ король.—Если я въ силахъ, то непремѣнно исполню твое требованіе.

— Говори смѣло, Алеша!—шепнулъ ему на ухо министръ.

Алеша задумался и не зналъ чего пожелать. Но такъ какъ ему казалось неучтивымъ заставить дожидаться короля, то онъ поспѣшилъ отвѣтомъ.

— Я бы желалъ,—сказалъ онъ,—чтобы, не учившись, я всегда зналъ урокъ свой, какой бы мнѣ ни задали.

— Не думалъ я, что ты такой лѣнивецъ,—отвѣчалъ король, покачавъ головою.—Но дѣлать нечего: я долженъ исполнить свое обѣщаніе.

Онъ махнулъ рукою, и пажъ поднесъ золотое блюдо, на которомъ лежало одно конопляное сѣмечко.

— Возьми это сѣмечко,—сказалъ король.—Пока оно будетъ у тебя, ты всегда знать будешь урокъ свой, какой бы тебѣ ни задали, съ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобъ ты ни подъ какимъ предлогомъ никому не сказывалъ ни одного слова о томъ, что́ ты здѣсь видѣлъ или впредь увидишь. Малѣйшая нескромность лишитъ тебя навсегда нашихъ милостей, а намъ надѣлаетъ множество хлопотъ и непріятностей.

Алеша взялъ конопляное зерно, завернулъ въ бумажку и положилъ въ карманъ, обѣщаясь быть молчаливымъ и скромнымъ.

Король всталъ съ креселъ, и тѣмъ же порядкомъ вышелъ изъ залы; а министръ вызвался показать подземныя рѣдкости дорогому гостю.

Сначала повелъ онъ его въ садъ, устроенный въ англійскомъ вкусѣ. Дорожки усѣяны были крупными разноцвѣтными камешками, отражавшими свѣтъ отъ безчисленныхъ маленькихъ лампъ, которыми увѣшаны были деревья.

— Камни эти,—сказалъ министръ,—у васъ называются драгоцѣнными. Это все брилліанты, яхонты, изумруды и аметисты.

Деревья также были разнаго цвѣта: красныя, зеленыя, коричневыя, бѣлыя, голубыя и лиловыя. Когда Алеша посмотрѣлъ на нихъ со вниманіемъ, то увидѣлъ, что это

не что иное, какъ разнаго рода мохъ, только выше и толще обыкновеннаго. Министръ разсказалъ ему, что мохъ этотъ выписанъ королемъ за большія деньги изъ дальнихъ странъ и изъ самой глубины земнаго шара.

Изъ сада пошли они въ звѣринецъ. Тамъ показали Алешѣ дикихъ звѣрей, которые привязаны были на золотыхъ цѣпяхъ. Всматриваясь внимательнѣе, онъ, къ удивленію своему, увидѣлъ, что дикіе эти звѣри были не что иное, какъ большія крысы, кроты, хорьки и подобные имъ звѣри, живущіе въ землѣ и подъ полами. Ему это очень показалось смѣшно; но онъ изъ учтивости не сказалъ о томъ ни слова.

— Вы обѣщались взять меня съ собою на охоту,— замѣтилъ онъ.

— Очень хорошо,—отвѣчалъ министръ.—Я думаю, что лошади уже осѣдланы.

Тутъ онъ свиснулъ, и явились конюхи, ведущіе въ поводахъ—палочки, у которыхъ набалдашники были рѣзной работы и представляли лошадиныя головы. Министръ съ съ большою ловкостью вскочилъ на свою лошадь; Алешѣ подвели палку гораздо болѣе другихъ.

— Берегись,—сказалъ министръ,—чтобъ лошадь тебя не сбросила: она не изъ самыхъ смирныхъ.

Алеша внутренно смѣялся этому, но когда онъ взялъ палку между ногъ, то увидѣлъ, что совѣтъ министра былъ не безполезенъ. Палка начала подъ нимъ увертываться и манежиться, какъ настоящая лошадь, и онъ насилу могъ усидѣть.

Между тѣмъ затрубили въ рога, и охотники пустились скакать во всю прыть по разнымъ переходамъ и корридорамъ. Долго они такъ скакали, и Алеша отъ нихъ не отставалъ, хотя съ трудомъ могъ сдерживать бѣшеную

палку свою. Вдругъ изъ одного боковаго корридора выскочило нѣсколько крысъ, такихъ большихъ, какихъ Алеша никогда не видывалъ. Онѣ хотѣли пробѣжать мимо; но когда министръ приказалъ ихъ окружить, то онѣ остановились и начали защищаться храбро. Не смотря, однако, на то, онѣ были побѣждены мужествомъ и искусствомъ охотниковъ. Восемь крысъ легли на мѣстѣ, три обратились въ бѣгство, а одну, довольно тяжело раненую, министръ велѣлъ вылечить и отвесть въ звѣринецъ.

По окончаніи охоты, Алеша такъ усталъ, что глазки его невольно закрылись, и онъ крѣпко заснулъ. Проснувшись на другое утро, онъ лежалъ въ своей постели.

Долго не могъ онъ опомниться и не зналъ, что́ ему думать... Чернушка и министръ, король и рыцари, голландки и крысы—все это смѣшалось въ головѣ, и онъ насилу мысленно привелъ въ порядокъ все видѣнное имъ въ прошлую ночь. Вспомнивъ, что король ему подарилъ конопляное зерно, онъ поспѣшно бросился къ своему платью, и дѣйствительно нашелъ въ карманѣ бумажку, въ которой завернуто было конопляное сѣмечко. „Увидимъ", подумалъ онъ, „сдержитъ ли слово свое король! Завтра начнутся классы, а я еще не успѣлъ выучить всѣхъ своихъ уроковъ."

Историческій урокъ особенно его безпокоилъ: ему задано было выучить наизусть нѣсколько страницъ изъ всемірной исторіи, и онъ не зналъ еще ни одного слова! Насталъ понедѣльникъ, съѣхались пансіонеры и начались классы. Отъ десяти часовъ до двѣнадцати преподавалъ исторію самъ содержатель пансіона. У Алеши сильно билось сердце... Пока дошла до него очередь, онъ нѣсколько разъ ощупывалъ лежащую въ карманѣ бумажку съ коноплянымъ зернышкомъ... Наконецъ, его вызвали.

стрн. 58.

Съ трепетомъ подошелъ онъ къ учителю, открылъ ротъ, самъ еще не зная, что́ сказать, и—безошибочно, не останавливаясь, проговорилъ заданное. Учитель очень его хвалилъ; однако Алеша не принималъ его хвалу съ тѣмъ удовольствіемъ, которое прежде чувствовалъ онъ въ подобныхъ случаяхъ. Внутренній голосъ говорилъ, что онъ не заслуживаетъ этой похвалы, потому, что урокъ этотъ не стоилъ ему никакого труда.

Въ продолженіи нѣсколькихъ недѣль, учители не могли нахвалиться Алешею. Всѣ уроки безъ исключенія зналъ онъ совершенно, всѣ переводы съ одного языка на другой были безъ ошибокъ, такъ, что не могли надивиться чрезвычайнымъ его успѣхамъ. Алеша внутренно стыдился этимъ похваламъ: ему совѣстно было, что поставляли его въ примѣръ товарищамъ, тогда какъ онъ вовсе того не заслуживалъ.

Въ теченіи этого времени, Чернушка къ нему не являлась, не смотря на то, что Алеша, особливо въ первыя недѣли послѣ полученія коноплянаго зернышка, не пропускалъ почти ни одного дня безъ того, чтобы ее не звать, когда ложился спать. Сначала онъ очень о томъ горевалъ, но потомъ успокоился мыслью, что она вѣроятно занята важными дѣлами по своему званію. Впослѣдствіи же, похвалы, которыми всѣ его осыпали, такъ его заняли, что онъ довольно рѣдко о ней вспоминалъ.

Онъ много сталъ о себѣ думать, важничалъ передъ другими мальчиками, и вообразилъ себѣ, что онъ гораздо лучше и умнѣе всѣхъ ихъ.

Однажды въ классѣ учитель опять вызвалъ его отвѣчать заданное. Алеша, ни мало не сомнѣваясь въ томъ, что и этотъ разъ ему удастся показать свою необыкновенную способность, разинулъ ротъ... и не могъ выговорить ни слова!

— Что-жь вы молчите?—сказалъ ему учитель:—говорите урокъ.

Алеша покраснѣлъ, потомъ поблѣднѣлъ, опять покраснѣлъ, началъ мять свои руки, слезы у него отъ страха навернулись на глазахъ... Онъ не могъ выговорить ни одного слова, потому что, надѣясь на конопляное зерно, даже и не заглядывалъ въ книгу.

— Что это значитъ, Алеша? — спросилъ учитель. — Зачѣмъ вы не хотите говорить?

Алеша самъ не зналъ, чему приписать такую странность, всунулъ руку въ карманъ, чтобъ ощупать сѣмячко... но, какъ описать его отчаяніе, когда онъ его не нашелъ! Слезы градомъ полились изъ глазъ его...

— Вы, видно, не знаете вовсе урока?—говорилъ совсѣмъ изумленный учитель.—Что это ныньче съ вами?

Товарищи не то съ жалостью, не то съ насмѣшливостью поглядывали на Алешу, котораго изъ-за его гордости почти уже разлюбили.

— Да все это курица...—бормоталъ онъ, глотая слезы.

— Какая курица?—спросилъ, хмурясь еще болѣе, учитель.

Алеша совершенно потерялъ голову. Онъ забылъ обѣщаніе, данное подземельному королю, и началъ разсказывать о черной курицѣ, о рыцаряхъ, о маленькихъ людяхъ, о конопляномъ зернѣ...

Учитель не далъ ему договорить.

— Какъ!—вскричалъ онъ.—Вмѣсто того, чтобы раскаяться, вы меня еще вздумали дурачить сказкою о какой-то черной курицѣ?... Этого уже слишкомъ много! Нѣтъ, васъ надо примѣрно наказать...

Товарищи Алеши, однако, охотнѣе готовы были вѣрить его разсказу: онъ говорилъ такъ чистосердечно и со

слезами... Они стали просить за него, и учитель наконецъ, для перваго раза, простилъ-таки его.

Но самъ Алеша не могъ успокоиться. За обѣдомъ онъ не проглотилъ ни кусочка; а когда прочихъ учениковъ позвали къ вечернему чаю, онъ убѣжалъ въ спальню, скорѣе раздѣлся, улегся и накрылся съ головою одѣяломъ, чтобы укрыться такъ отъ цѣлаго свѣта—и отъ себя самого.

Другія дѣти давно уже также улеглись, давно спали, а онъ никакъ заснуть не могъ! Какъ раскаявался онъ въ дурномъ поведеніи своемъ! онъ рѣшительно хотѣлъ исправиться, хотя чувствовалъ, что конопляное зернышко возвратить невозможно!

Около полуночи пошевелилась опять простыня у сосѣдней кровати. Алеша, который недавно этому радовался, теперь закрылъ глаза... онъ боялся увидѣть Чернушку!

Нѣсколько времени лежалъ онъ съ закрытыми глазами. Ему слышался шорохъ отъ поднимающейся простыни... Кто-то подошелъ къ его кровати—и голосъ, знакомый голосъ, назвалъ его по имени: „Алеша, Алеша!“—Но онъ стыдился открыть глаза, а между тѣмъ слезы изъ нихъ выкатывались и текли по его щекамъ...

Вдругъ кто-то дернулъ за одѣяло... Алеша невольно поднялъ глаза, и передъ нимъ стояла Чернушка—не въ видѣ курицы, а въ черномъ платьѣ, въ малиновой шапочкѣ съ зубчиками, и въ бѣломъ накрахмаленномъ шейномъ платкѣ, точно какъ онъ видѣлъ ее въ подземной залѣ.

— Алеша!—сказалъ министръ;—я вижу, что ты не спишь... прощай! я пришелъ съ тобою проститься, болѣе мы не увидимся!...

Алеша громко зарыдалъ.

— Прощай! — воскликнулъ онъ; — прощай! И, если

можешь, прости меня! я знаю, что виноватъ передъ тобою; но я жестоко за то наказанъ!

— Алеша!—сказалъ сквозь слезы министръ:—я тебя прощаю, не могу забыть, что ты спасъ жизнь мою, и все тебя люблю, хотя ты сдѣлалъ меня несчастнымъ, можетъ быть на вѣки!... Прощай! мнѣ позволено видѣться съ тобою на самое короткое время. Еще въ теченіи нынѣшней ночи, король съ цѣлымъ народомъ изъ-за тебя долженъ переселиться далеко, далеко отъ здѣшнихъ мѣстъ! Всѣ въ отчаяніи, всѣ проливаютъ слезы. Мы нѣсколько столѣтій жили здѣсь такъ счастливо, такъ покойно!...

Алеша бросился цѣловать маленькія ручки министра. Схвативъ его за руку, онъ увидѣлъ на ней что-то блестящее, и въ то-же самое время какой-то необыкновенный звукъ поразилъ его слухъ...

— Что это такое?—спросилъ онъ съ изумленіемъ.

Министръ поднялъ обѣ руки къ верху, и Алеша увидѣлъ, что онѣ были скованы золотою цѣпью... Онъ ужаснулся!...

— Твоя нескромность причиною, что я осужденъ носить эти цѣпи,—сказалъ министръ съ глубокимъ вздохомъ; —но не плачь, Алеша! твои слезы помочь мнѣ не могутъ. Однимъ только ты можешь меня утѣшить въ моемъ несчастіи: старайся исправиться, и будь опять такимъ-же добрымъ мальчикомъ, какъ былъ прежде. Прощай въ послѣдній разъ!

Министръ пожалъ Алешѣ руку, и скрылся подъ сосѣднюю кровать.

— Чернушка, Чернушка!—кричалъ ему вслѣдъ Алеша; но Чернушка не отвѣчала.

Во всю ночь не могъ онъ сомкнуть глазъ ни на минуту. За часъ передъ разсвѣтомъ послышалось ему, что

подъ поломъ что-то шумитъ. Онъ всталъ съ постели, приложилъ къ полу ухо, и долго слышалъ стукъ маленькихъ колесъ и шумъ, какъ-будто множество маленькихъ людей проходило. Между шумомъ этимъ слышенъ былъ также плачъ женщинъ и дѣтей, и голосъ министра-Чернушки, который кричалъ ему: „Прощай, Алеша! прощай навѣки!...“

На другой день поутру дѣти, проснувшись, увидѣли Алешу, лежащаго на полу безъ памяти. Его подняли, положили въ постель, и послали за докторомъ, который объявилъ, что у него горячка.

Недѣль черезъ шесть Алеша, съ помощью Божіею, выздоровѣлъ, и все происходившее съ нимъ передъ болѣзнью казалось ему тяжелымъ сномъ. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни словомъ о бывшемъ съ нимъ; Алеша-же самъ стыдился о томъ говорить, и старался быть послушнымъ, добрымъ, скромнымъ и прилежнымъ. Всѣ его снова полюбили, и онъ снова сдѣлался примѣромъ для своихъ товарищей,—но уже безъ помощи коноплянаго зерна.

А. Погорѣльскій.

ДРАМАТИЧЕСКАЯ СКАЗКА

объ Иванѣ Царевичѣ, о Жаръ-Птицѣ и о Сѣромъ волкѣ.

I.

Царь Выславъ и Министръ его.

(Министръ держитъ блюдо съ яблоками.)

Царь Выславъ.

Вотъ яблоки, такъ яблоки на славу!
Могу сказать, что лучшіе плоды
На всей землѣ, единственные. Чудо!
Цвѣтъ, какъ янтарь иль золото. Какъ чисты,
Прозрачны и блестящи! Словно солнце,
Любуясь ими, оставляетъ въ нихъ

Свои лучи. А вкусъ! не то что сахаръ,
Иль медъ,—гораздо тоньше, выше...

(Кушаетъ яблоко.)

Повѣришь ли? Чтó иногда бываетъ
Со мною! Странно! Яблоко возьму
И закушу, да вдругъ и позабудусь,
И полетятъ и полетятъ мечты!
И кровь во мнѣ играетъ: цѣлый часъ
Сижу недвижно съ яблокомъ въ рукѣ
И на него смотрю неравнодушно;
А самъ не ѣмъ вкуснѣйшаго плода!
Прекрасный плодъ! И мнѣ какая слава,
Какая слава подданнымъ моимъ,
Что у меня въ саду такая сладость
Ростетъ и зрѣетъ! Только у меня!
За то ужь какъ я радуюсь, когда
Приходитъ лѣто и пора... Однакожь
Мнѣ кажется—и вотъ уже дня съ два,
Какъ замѣчаю тоже,—прежде больше
Ты приносилъ мнѣ яблоковъ. Не такъ ли?
Вѣдь такъ?

Министръ.

Ихъ было больше, государь!

Царь Выславъ.

Ихъ было больше! Отъ чего-жь теперь?...
Куда-жь они дѣваются? Послушай,
Я не шучу. Ты знаешь, что никто,
Кромѣ царя, во всей моей державѣ
Не долженъ смѣть подумать, что онъ можетъ
Ихъ ѣсть. Такъ я постановилъ закономъ.
Куда-жь ты ихъ дѣваешь? Говори...

Министръ.

Прости меня, великій государь!
Я виноватъ...

Царь Выславъ.

Какой же ты министръ!...
И хорошо ты служишь мнѣ, когда
Ты не радѣешь именно о томъ,
Что мнѣ всего милѣе!

Министръ.

Государь!
Сыздѣтства я привыкъ служить царю,
Всегда, вездѣ: и мудрый Зензивей,
Дѣдъ твоего величества, всегда
Мнѣ жаловалъ знатнѣйшіе чины;
Твой батюшка, премудрый царь Андронъ
Не отвергалъ совѣтовъ...

Царь Выславъ.

Знаю, знаю!
Да не объ томъ я спрашивалъ тебя;
Я не люблю рѣчей окольныхъ, длинныхъ;
Мнѣ говори и коротко и прямо,
А въ сторону отъ дѣла не виляй.

Министръ.

Я виноватъ, что не дерзнулъ доселѣ
Открыть тебѣ великую бѣду,
Тяжелое общественное горе:
Въ твой царскій садъ повадилась Жаръ-Птица,
И яблоки завѣтныя воруетъ,
И прилетаетъ кажду ночь, и яблонь
Несчастная теперь едва похожа
На прежнюю любимицу твою.

Царь Выславъ.

Поймать Жаръ-Птицу! Что это за птица?

Министръ.

Прекрасная, диковинная птица!
У ней глаза подобны хрусталю
Восточному, а перья золотыя;
И блещутъ ярко...

Царь Выславъ.

Все-таки поймать!

Министръ.

Поймать ее! Могуче это слово
Державное, да малосильны мы,
Твои рабы, явить его на дѣлѣ.
Твои рабы усердные, Жаръ-Птицу
Ужь мы давнымъ давно подстерегаемъ!
Устроены засады, караулы
И оклики; отрядъ дружины царской
Дозоромъ ходитъ; наконецъ я самъ
Не разъ уже ходилъ ее ловить,
И все напрасно!

Царь Выславъ.

Стало-быть, она
Огромная, изъ рода рѣдкихъ птицъ
Временъ предъисторическихъ.

Министръ.

Она
Величиной съ большаго пѣтуха,
Иль много что съ павлина. Но у ней
Глаза и перья блещутъ и горятъ
Невыносимо ярко. Лишь она
Усядется на яблони, и вдругъ
Раскинетъ свой великолѣпный хвостъ:

Онъ закипитъ лучами, словно солнце;
Тогда въ саду не ночь, а чудный день,
И такъ свѣтло, что ничего не видно!
А между-тѣмъ все это отъ нея-жь,
И тишина, такая тишина
И нѣжная и сладкая, что самый
Крѣпчайшій сторожъ соблазнится: ляжетъ
На дернъ, кулакъ подложитъ подъ високъ,
Заснетъ и спитъ до поздняго обѣда!

Царь Выславъ.

Такъ какъ же быть? Диковинная птица!
Зови сюда царевичей! Они
Помогутъ мнѣ подумать, разсудить,
Чтó дѣлать намъ.

(Министръ уходитъ.)

II.

Царь Выславъ и Царевичи.

Царь Выславъ.

Любезные царевичи мои!
Въ нашъ царскій садъ повадилась Жаръ-Птица
И яблоки завѣтныя воруетъ.
Скажите же, царевичи мои,
Какъ поступить мнѣ съ нею? Ты сначала
Подай совѣтъ, мой старшій сынъ Димитрій!

Димитрій Царевичъ.

Я думаю, что надобно сперва
Навѣрное развѣдать, чья она;
Потомъ посла къ тому царю отправить
Сказать ему, что ваша-де Жаръ-Птица
Повадилась летать въ нашъ царскій садъ,

И яблоки воруетъ дорогія:
Такъ мы по дружбѣ съ вами просимъ васъ
Унять ту птицу; мы-де не желаемъ,
Чтобъ вѣчный миръ, который...

Царь Выславъ.

Ты, Василій?

Василій Царевичъ.

Я думаю такъ точно, слово въ слово,
Какъ говоритъ мой старшій братъ: сперва
Навѣрное развѣдать, чья она,
Потомъ посла...

Царь Выславъ.

А ты, Иванъ Царевичъ?

Иванъ Царевичъ.

Я думаю, что нечего тутъ думать!
Поймать ее—и въ шляпѣ дѣло!

Царь Выславъ.

Какъ же
Поймать ее? Вотъ въ томъ-то и задача!
Давно объ ней хлопочутъ: караулъ,
Засада, часть дружины, вообще
Противъ нея ловительныя мѣры
Ужь приняты, но все напрасно.

Иванъ Царевичъ.

Что же,
Намъ прикажи: мы—сыновья твои,
Тебя мы любимъ больше, чѣмъ твоя
Засада, часть дружины, караулы
И прочія ловительныя мѣры,
Авось поймаемъ!

Царь Выславъ.

Да и въ самомъ дѣлѣ!

Совѣтъ разумный! Я съ тобой согласенъ,
Иванъ Царевичъ! Знаю это слово:
Авось! авось! Я вамъ повелѣваю,
Вамъ всѣмъ троимъ, царевичи: ходите
Въ нашъ царскій садъ, по брату кажду ночь,
Ловить ее, сначала ты, Димитрій,
Потомъ Василій, наконецъ Иванъ.
Иванъ Царевичъ, подойди ко мнѣ,
Дай мнѣ тебя расцѣловать, мой милый,
Любимый сынъ: ты освѣжилъ меня
Своимъ совѣтомъ. Весело мнѣ видѣть,
Что у тебя отважная душа.
Рости мой сынъ, ты будешь богатырь!

(Слѣдующія двѣ ночи старшіе два Царевича, одинъ за другимъ, подстерегаютъ въ саду Жаръ-Птицу, но и тотъ, и другой, не устоявъ противъ сна, сладко засыпаютъ и увѣряютъ потомъ отца, что Жаръ-Птица вовсе не прилетала.)

III.

Царь Выславъ и Царевичи Димитрій и Василій.

Царь Выславъ.

Мнѣ право жаль, царевичи мои,
Что вы трудились понапрасну. Я
Васъ не виню, да какъ васъ и винить?
Не прилетала: нечего и дѣлать!
Гдѣ взять ее? Посмотримъ, что-то скажетъ
Иванъ Царевичъ? Онъ еще такъ молодъ;

Онъ не съумѣетъ справиться съ такой
Чудесной птицей. Вѣрно оробѣетъ
И ничего не сдѣлаетъ... Да вотъ онъ!
А, здравствуй, мой Иванъ Царевичъ! какъ
Ты ночь провелъ? Что̀ это у тебя?

IV.

Тѣ-же и Иванъ Царевичъ.

Иванъ Царевичъ.

Перо Жаръ-Птицы.

Царь Выславъ.

Что̀ ты, въ самомъ дѣлѣ?
Возможно ли!

Иванъ Царевичъ.

Я не поймалъ ея!
Пресильная, пребѣшенная птица!
Одно перо осталось у меня.

Царь Выславъ.

А какъ его досталъ ты?

Иванъ Царевичъ.

Очень просто:
Я взлѣзъ на яблонь, и въ густыхъ вѣтвяхъ
Подъ самою верхушкой притаился;
Сижу и жду, что̀ будетъ? Ночь тиха,
Безмѣсячна, во всемъ саду ни листикъ
Не шевельнется; я на яблонѣ сижу.
Вдругъ вижу, что-то на краю небесъ,
Какъ звѣздочки, заискрилось; гляжу
Въ ту сторону; оно ростетъ и будто

Летитъ, и въ самомъ дѣлѣ вѣдь летитъ!—
Все ближе, ближе, прямо на меня,
И къ яблонѣ—и листья зашумѣли;
Однакожь я ничуть не оробѣлъ.
Сидитъ Жаръ-Птица,—знаю... да какъ гаркну—
И хвать ее обѣими руками!
Она рванулась, вырвалась и мигомъ
Ушла изъ глазъ—въ далекій небосклонъ;
А у меня въ рукѣ перо осталось.

Царь Выславъ *(разсматривая перо)*.

Прекрасное, рѣдчайшее перо!
Какъ тяжело! знать цѣльно-золотое!
Какъ тонко, нѣжно, гибко, что за цвѣтъ!
Любезные царевичи, я радъ,
Сердечно радъ жаръ-птицыну перу!
Теперь я ожилъ: я почти увѣренъ,
Что не уйдетъ она отъ нашихъ рукъ.
По прежнему ходите караулить,
И съ нынѣшней же ночи. Я надѣюсь,
Что ты Димитрій... Ну, Иванъ Царевичъ!
А я грѣшилъ: я думалъ, ты... анъ нѣтъ!
Ты, какъ герой, ничуть не испугался—
И дѣйствовалъ благоразумно. Славно!

(Цѣлуетъ Ивана Царевича.)

Мой милый сынъ! Поди, мой другъ, къ себѣ
И отдохни! А ты, Димитрій, снова
Приготовляйся къ караулу. Я
Хочу подумать, какъ мнѣ самый лучшій,
Приличный ящикъ сдѣлать, иль ковчегъ
Для этого чудеснаго пера,
Изящно-драгоцѣнный! Позови *(Василью)*
Сюда ко мнѣ дворцовыхъ столяровъ

И рѣщиковъ: я дожидаюсь ихъ!

(Жаръ-Птица перестала между тѣмъ летать въ царскій садъ, и царь Выславъ посылаетъ двухъ старшихъ сыновей сыскать ее гдѣ бы то ни было, во что бы то ни стало. Иванъ Царевичъ, котораго царь оставилъ-было при себѣ, не даетъ отцу покою, пока тотъ не отпускаетъ и его за Жаръ-Птицей.)

V.

Иванъ Царевичъ *(въ лѣсу, ѣдетъ верхомъ).*

Не весело мнѣ ѣхать! Этотъ лѣсъ
Большой, дремучій, мрачный и, какъ видно,
Принадлежащій царству тишины,
Несносно скученъ! Ѣду третьи сутки,
И много ужь проѣхалъ, а ни съ кѣмъ
Не встрѣтился и ничего не видѣлъ,
Кромѣ лѣсной дороги да небесъ,
Протянутыхъ, какъ лента голубая,
Высоко, въ даль за мной и предо мной.
Какая глушь! Здѣсь мертвое молчанье
И непробудный сонъ: въ тиши лѣсной
Не свиснетъ птичка, лѣшій не аукнетъ;
Лишь изрѣдка скакунъ мой удалой
Встряхнетъ своей нахмурой головой,
И забренчитъ опущенной уздой,
Или въ кремень стальнымъ копытомъ стукнетъ.
И ты, мой конь, задумался... грустишь?
Не унывай, товарищъ! не всегда же
Поѣдемъ мы такимъ дремучимъ лѣсомъ!
Неси меня, порадуй господина,

И рѣзвымъ вѣтромъ бѣга твоего
Отвѣй тоску отъ головы его!

(скачетъ.)

Вотъ этакъ лучше! Вотъ ужь и поляна!
И три дороги на три стороны,
И столбъ стоитъ, и на столбѣ слова.
Посмотримъ, что́ имѣетъ онъ сказать!

(читаетъ:)

„Ежели кто поѣдетъ отъ сего столба прямо, тотъ будетъ голоденъ и холоденъ; кто же поѣдетъ въ правую сторону, тотъ будетъ здоровъ и живъ, а конь его убитъ; а кто поѣдетъ въ лѣвую сторону, тотъ будетъ убитъ, а конь его живъ и здоровъ будетъ.“

Куда-жь мнѣ ѣхать? Прямо отъ столба?
Я не люблю, я вовсе не способенъ
Ни голодать, ни холодать. Направо?
Жаль мнѣ коня! Да и себя мнѣ жаль:
Идти пѣшкомъ... умаешься, устанешь!
Потомъ лежи и отдыхай, потомъ
Опять иди и снова отдыхай.
Нѣтъ, это скучно, мѣшкатно; а я
Сказалъ отцу, что скоро ворочусь
Съ Жаръ-Птицею, я долженъ торопиться.
Куда-жь мнѣ ѣхать? Развѣ ужь налѣво,
Чтобы меня убили... а мой конь,
Мой добрый конь, надежный мой товарищъ,
Остался бы покинутымъ подъ верхъ
Разбойнику? Нѣтъ, этого не будетъ.
Нѣтъ! добрый конь, сворачивай направо:
Я не люблю пророчествъ никакихъ,
Не вѣрю имъ, я знаю, вругъ они.

стрн. 87.

VI.

Иванъ Царевичъ *(въ лѣсу, сидитъ).*

Чтобъ у тебя всегда болѣли зубы,
Проклятый волкъ! Ты самый хищный звѣрь!
Чѣмъ я тебя обидѣлъ, огорчилъ,
Что ты зарѣзалъ моего коня,
Товарища и друга моего?
Чѣмъ виноватъ онъ? Голоденъ ты, что ли?
И малъ тебѣ пространный этотъ лѣсъ
Ловить твою несчастную добычу?
Какъ я усталъ! А долго ли я шелъ,
И много ли прошелъ я? То ли было...
Ахъ, добрый конь мой, что́ я безъ тебя?
Проклятый волкъ! осиротилъ меня.

VII.

Иванъ Царевичъ и Сѣрый волкъ.

Сѣрый волкъ *(выходитъ изъ лѣсу)*.
Прости меня, Иванъ Царевичъ!

Иванъ Царевичъ.

Чтó ты?
Прочь отъ меня, разбойникъ! прочь поди!

Сѣрый волкъ.

Мнѣ жаль тебя, Иванъ Царевичъ.

Иванъ Царевичъ.

Поздно
Ты обо мнѣ жалѣешь.

Сѣрый волкъ.

Право, жаль,
И знаешь ли? Вѣдь я почти невиненъ,
Что твоего коня я растерзалъ:
Ты помнишь, чтó предсказывалъ тебѣ
Дорожный столбъ? Ты выбиралъ дорогу!
Но будь спокоенъ: я тебѣ слуга,
Хочу помочь твоей большой бѣдѣ,
И помогу: садись-ко на меня,
И поѣзжай на мнѣ куда угодно,
Какъ на конѣ, на самомъ удаломъ.

Иванъ Царевичъ.

Пожалуй, я отъ этого не прочь,
Чѣмъ мнѣ пѣшкомъ тащиться. Хорошо!
Будь мнѣ конемъ. Вотъ видишь ли, въ чемъ дѣло:
Меня послалъ царь-батюшка достать
И привести Жаръ-Птицу: такъ вези

Меня туда, въ то царство, понимаешь?

(Садится верхомъ на волка.)

VIII.

Сѣрый волкъ.

Пріѣхали! Слѣзай съ меня, мой витязь!
Вотъ черезъ эту, каменную стѣну
Переберись: а тамъ въ саду Жаръ-Птица.
Давно ужь ночь, уснули сторожа;
Иди себѣ, не бойся ихъ ни мало:
Они обыкновенно крѣпче спятъ,
Чѣмъ прочія хранительныя власти.
Да вотъ тебѣ совѣтъ мой: ты Жаръ-Птицу
Бери смѣлѣй, во снѣ она смирна,

И вынь ее изъ клѣтки золотой,
И унеси; а клѣтку золотую
Оставь, какъ есть, не тронь ее: она
Съ механикой, со штукой; отъ нея
Звончàтыя, чувствительныя струны
Проведены къ дворцовымъ карауламъ;
Онѣ какъ разъ подымутъ шумъ и крикъ,
Тогда тебѣ не миновать бѣды!

IX.

Царь Долматъ и стража. Потомъ Иванъ Царевичъ.

(Царь Долматъ лежитъ на кровати; передъ нимъ на полу сидитъ сказочникъ и говоритъ сказку. Вдругъ слышатъ шумъ и крикъ.)

Царь Долматъ.

Что за тревога? Что за крикъ и шумъ?

Начальникъ стражи.

Все слава Богу! изловили вора
Въ твоемъ саду: хотѣлъ унесть Жаръ-Птицу.

Царь Долматъ.

Сковать его, въ тюрьму его скорѣе!
Судить его шемякинымъ судомъ!...
Ко мнѣ его сію-жь минуту!...

(Вводятъ Ивана Царевича.)

Начальникъ стражи.

Вотъ онъ!

Царь Долматъ.

Кто ты таковъ?

Иванъ Царевичъ.

Я сынъ царя Выслава,
Иванъ Царевичъ.

Царь Долматъ.

Сынъ царя Выслава...
Андроновича, что-ли?

Иванъ Царевичъ.

Точно такъ!

Царь Долматъ.

Послушай, другъ мой, какъ тебѣ не стыдно
Птицъ воровать! Твое ли это дѣло?
Вѣдь ты царевичъ.

Иванъ Царевичъ.

Я не виноватъ...
Меня послалъ царь-батюшка поймать
И привезти ему Жаръ-Птицу; намъ
Она премного сдѣлала вреда:
Изволила повадиться въ нашъ садъ
По яблоки завѣтныя, и яблонь
Испортила, хоть брось... Меня послалъ
Царь-батюшка...

Царь Долматъ.

Такъ развѣ ты не могъ
Не воровски, а честно и полезно
Достать ее? Ты просто попросилъ бы:
Тогда бы я, принявъ въ соображенье,
Что твой отецъ—извѣстный государь,
Что ты—Иванъ Царевичъ, сынъ его,
Рѣшился бы по милости моей
Тебѣ отдать, пожаловать Жаръ-Птицу.
Ты поступилъ иначе. Что-жь ты взялъ?
Тебя-жь поймали, привели на судъ
Передъ царемъ, и что царю угодно,
Тому и быть съ тобою! Я бы могъ
Тебя жестоко, славно проучить

За дерзкій твой поступокъ; но, пожалуй,
Я пощажу тебя, Иванъ Царевичъ,
Когда ты мнѣ дашь слово, что ты мнѣ
Сослужишь службу; я прощу тебя
И, сверхъ того, отдамъ тебѣ Жаръ-Птицу,
И ты со мной разстанешься, какъ съ другомъ,
И выѣдешь изъ царства моего
Въ большомъ почетѣ, какъ высокій гость,
Какъ сынъ царя, съ которымъ я желаю
Вести пріязнь и дружбу.

Иванъ Царевичъ.

Я согласенъ.
Какая-жь это служба?

Царь Долматъ.

Вотъ какая:
Есть Царь Афронъ, и у царя Афрона
Есть превосходный, златогривый конь;
Такъ ты достань мнѣ этого коня;
А не достанешь—нѣтъ тебѣ пощады!
Согласенъ ты на это?

Иванъ Царевичъ.

Я согласенъ.

Царь Долматъ.

И такъ прощай же, будь здоровъ и дѣйствуй.
Ты молодецъ! Прощай, Иванъ Царевичъ!

(Волкъ везетъ Ивана Царевича къ царю Афрону. Здѣ онъ предостерегаетъ его отнюдь не брать, вмѣстѣ конемъ, узды.)

X.

Сѣрый волкъ *(одинъ)*.

Мнѣ нравится мой витязь! Онъ красавецъ,

Смѣлъ, добродушенъ; жизненная сила
Въ немъ весело играетъ и кипитъ,
Въ немъ лишь одно не ловко, не похвально
И мнѣ прискорбно: онъ мои совѣты
Позабываетъ. Я того и жду,
Что онъ опять забудетъ мой наказъ:
Онъ соблазнится золотой уздой,
Возьметъ ее и сдѣлаетъ тревогу!

XI.

Сѣрый волкъ и Иванъ Царевичъ.

Иванъ Царевичъ.

Прости меня, мой добрый Сѣрый волкъ!
Я виноватъ, опять въ просакъ попался.
Я со стѣны спрыгнулъ благополучно,
Все было тихо, на дворѣ широкомъ
Покоился крѣпчайшій караулъ.
Я шелъ, твердя въ умѣ твои слова:
„Не брать узды! Не брать узды!“ и этакъ
Добрался до конюшни, и въ нее
Вошелъ, взглянулъ: а на стѣнѣ узда!
Я и теперь еще не понимаю,
Какъ я тогда смѣшался, я забылъ
И твой приказъ и самого себя,—
Вся въ дорогихъ каменьяхъ, въ жемчугахъ
И золотая, отъ нея лучи!—
Я протянулъ къ ней руки и лишь началъ
Снимать ее съ высокаго гвоздя—
Вдругъ звонъ и крикъ, и страшная тревога!
Меня схватили молодца, и прямо
На судъ, какъ разъ передъ царя Афрона;

Царь вспыхнулъ, расходился, и меня
Сердитыми вопросами осыпалъ.
Я отвѣчалъ ему чистосердечно,
Кто я таковъ, и для чего зашелъ
Въ его конюшню. Онъ хоть и смягчился,
Но ужь мылъ-мылъ мнѣ голову! Потомъ
Исторія похожая на ту,
Что̀ у меня была съ царемъ Долматомъ:
И царь Афронъ даруетъ мнѣ прощенье.
Отдастъ мнѣ златогриваго коня,
Когда ему я службу сослужу;
Вотъ видишь ты, въ чемъ дѣло: онъ влюбленъ
Въ какую-то прекрасную Елену;
Такъ я взялся, далъ рыцарское слово
Достать ему предметъ его любви.
Не знаешь ли, мой добрый Сѣрый волкъ,
Скажи ты мнѣ, что это за Елена?

Сѣрый волкъ.

Верхъ совершенства, чудо красоты!
Я потружусь, я сослужу тебѣ
Большую службу, я тебѣ достану
Прекрасную Елену; а тебѣ
Ее похитить самому нельзя,
Повѣрь ты мнѣ. Садись-ка на меня,
Поѣдемъ мы въ то царство. Я тебя
Оставлю на дорогѣ одного
Во чистомъ полѣ, подъ зеленымъ дубомъ.
Тамъ жди меня, я скоро ворочусь
Съ прекрасною Еленой, и тебѣ
Отдамъ ее руками.

Иванъ Царевичъ.

Добрый волкъ!

А мнѣ было хотѣлось самому...
Да все равно я на тебя надѣюсь
И буду ждать.

(Садится верхомъ на волка.)

Пошелъ же поскорѣе!

XII.

Иванъ Царевичъ *(подъ зеленымъ дубомъ).*

Свѣтла, чиста небесная лазурь;
Прохладенъ воздухъ, долы и холмы
Цвѣтутъ; стрекочетъ подмуравный міръ;
Журчатъ ручьи и свищетъ соловей.
Прекрасный день! люблю тебя, весна!
А что со мною будетъ, если волкъ
Меня обманетъ, убѣжитъ домой,
А я останусь пѣшъ и одинокъ...
Здѣсь, подъ зеленымъ дубомъ? Я не знаю,
Чье это царство и куда идти?
Жду не дождусь; теперь ужь третьи сутки
Кончаются съ тѣхъ поръ, какъ онъ меня
Покинулъ здѣсь. О нѣтъ! Онъ добрый малый...

XIII.

Иванъ Царевичъ и Сѣрый волкъ съ Еленой.

Сѣрый волкъ.

Иванъ Царевичъ, принимай руками
Прекрасную Елену, вотъ она!
(Кладетъ ее на лугъ, она въ безпамятствѣ.)
Она дорогой чувства потеряла;
Я такъ внезапно выхватилъ ее

Изъ тишины отеческаго сада,
Изъ круга милыхъ, молодыхъ подругъ,
Прислужницъ, нянекъ, мамокъ, и такъ быстр(
Скакалъ съ моею ношей дорогóй,
Боясь погони и поимки, что она,
Воспитанная въ нѣгѣ и покоѣ,
Имѣла право обмереть со страху
И задохнýться на моей спинѣ;
А впрочемъ я берегъ ее, слегка
Придерживалъ зубами, чтобъ никакъ
Не уязвить чувствительнаго тѣла.

Иванъ Царевичъ (*смотритъ на Еле*
Жестокъ ты волкъ!

Сѣрый волкъ.

Небось: она очнется,
Дай только ей немножко отдохнуть.

(Елена просыпается и плачетъ, что Иванъ .
вичъ отдастъ ее царю Афрону. Самъ Иванъ Цар
плачетъ, потому что не хотѣлъ бы уже разстав
съ красавицей-царевной.)

Сѣрый волкъ.

Ужъ развѣ мнѣ вступиться въ ваше дѣло,
Прекрасная Елена?

Елена.

Добрый волкъ!
Спаси его, спаси обоихъ насъ!

Сѣрый волкъ.

Я вамъ слуга, прекрасная Елена:
Спасу я васъ обоихъ,—успокойтесь!
Садитесь-ка на сѣраго слугу!
Я повезу васъ самой нѣжной рысью,
Прохладно и сохранно въ государство

Царя Афрона; тамъ, Иванъ Царевичъ,
Найдемъ мы лѣсъ, а въ томъ лѣсу поляну,
И въ той полянѣ мы одну оставимъ
Прекрасную Елену не надолго.
Я обернусь прекрасною Еленой,
И ты отдашь меня царю Афрону,
И на своемъ конѣ золотогривомъ
Туда пріѣдешь; я же у него
Останусь погостить, повеселиться
Не болѣе трехъ сутокъ, убѣгу,
И снова къ вамъ явлюся вамъ служить.

XIV.

Иванъ Царевичъ, Елена и Сѣрый волкъ.

(Въ лѣсу).

Елена.

Любезный волкъ! я буду вѣчно помнить,
Чѣмъ я тебѣ обязана, ты спасъ
Обоихъ насъ: благодарю тебя!

Сѣрый волкъ.

И есть за что, прекрасная Елена!
Ахъ, еслибы вы видѣли, какъ я
Васъ представлялъ передъ царемъ Афрономъ!
Комедія! Когда Иванъ Царевичъ
Покончилъ съ нимъ дѣла свои, и вышелъ
Изъ комнаты, гдѣ приняты мы были
Блистательно и радостно и имъ
Самимъ и ловкой пестрою толпой
Золотошвейныхъ царедворцевъ,—царь
Махнулъ рукой, и я осталась съ нимъ
Наединѣ. Онъ предложилъ мнѣ сѣсть;

Я сѣла на диванъ подъ балдахиномъ,
Задумчиво склонилась головой
Къ высокой спинкѣ, очи и уста
Полузакрыла томнымъ выраженьемъ
Плѣнительной усталости, а руки
На бархатныхъ подушкахъ разметала.
Онъ занимался долго созерцаньемъ
Моей всесовершенной красоты,
Потомъ сказалъ: „Прекрасная Елена!
Назначьте день, счастливѣйшій мой день,
Когда вполнѣ вы будете моею?
Угодно ли вамъ завтра?“—Я смутилась
И трепетно и робко отвѣчала:
„О, да!“ Онъ тотчасъ отдалъ приказанье
Готовить праздникъ; онъ былъ внѣ себя
Отъ радости, что завтра наша свадьба.
День догоралъ, прекрасенъ вечеръ былъ:
Мнѣ захотѣлось походить въ саду
И по полю,—онъ отпустилъ меня.
Окружена блестящею толпой
Прислужницъ, нянекъ, мамокъ и другихъ
Чиновъ придворныхъ, я въ саду гуляла
И вышла въ поле. Вдалекѣ чуть видно
Синѣлся лѣсъ; я сѣла на травѣ
И приказала имъ сѣсть; а сама
Въ то самое мгновенье, какъ они
На землю опускались, вдругъ вскочила
И поминай какъ звали: прямо въ лѣсъ—
Тамъ обернулась въ свой родимый видъ,
И къ вамъ сюда, за тридевять земель,
Скорѣе вѣтра прибѣжалъ вашъ волкъ,
По прежнему готовый вамъ служить.

стрн. 105.

Иванъ Царевичъ.

Вотъ молодецъ! Знай нашихъ! Милый волкъ!
Мнѣ полюбился златогривый конь:
Не можешь ли ты сдѣлать, ухитриться,
Чтобы и онъ остался у меня?
Вѣдь ты волшебный...

Сѣрый волкъ.

Я люблю тебя,
Иванъ Царевичъ, я готовъ на все,
Тебѣ въ угоду, буду златогривымъ
Конемъ. Ты за меня возьмешь Жаръ-Птицу;
Я убѣгу и отъ царя Долмата,
И вновь тебѣ твой добрый Сѣрый волкъ.

(Волкъ исполняетъ свое слово: обернувшись конемъ, даетъ сѣсть на себя царю Долмату, но тутъ-же сбрасываетъ его на земь, а самъ убѣгаетъ опять къ Ивану Царевичу, чтобы съ нимъ уже проститься. Иванъ Царевичъ остается одинъ съ Еленою. Старшіе два брата, встрѣтивъ ихъ по дорогѣ, изъ зависти къ Ивану Царевичу убиваютъ его, соннаго, а Елену, коня и Жаръ-Птицу берутъ съ собой.)

XV.

Царь Выславъ, Димитрій Царевичъ, Василій Царевичъ и Елена.

(Обѣдаютъ.)

Царь Выславъ.

Прекрасная Елена!
Вы ничего не кушаете... Что вы
Такъ пасмурны? Ужь вы здоровы ли?

Димитрій Царевичъ.

Она здорова, но нельзя же ей,
Царь-батюшка, не погрустить, покуда
Не обошлася въ нашей сторонѣ,
Не осмотрѣлась; ей у насъ все вновѣ,
Все будто бы чужое. Сверхъ-того,
Скажу тебѣ всю правду, мы ее
Похитили такъ смѣло и внезапно,
Такъ быстро торопились отъ погони,
И чтобъ скорѣй обрадовать тебя
Жаръ-Птицей,—что прекрасная Елена
Устала съ перепугу и со спѣху.
Дай срокъ: она привыкнетъ съ нами жить
И насъ полюбитъ всѣхъ до одного,
И расцвѣтетъ и будетъ весела!
Не правда ли, прекрасная Елена,
Вы скоро къ намъ привыкнете?

Елена.

Не знаю.

Василій Царевичъ.

И больше всѣхъ полюбите меня?

Елена.

Не знаю я.

Василій Царевичъ.

Вѣдь вы моя невѣста!

Царь Выславъ.

А гдѣ-то онъ, мой другъ Иванъ Царевичъ?

Василій Царевичъ.

Мы ничего не слышали объ немъ,
Хотя вездѣ справлялись.

Димитрій Царевичъ.

Теряетъ время, ищетъ вамъ Жаръ-Птицу,

Которая находится у васъ!

Василій Царевичъ.

Знать, онъ заѣхалъ черезъ-чуръ далеко,
Иль заплутался.

Димитрій Царевичъ.

Иль сидитъ въ плѣну.
Да, признаюсь! я очень удивился
Царь-батюшка, когда узналъ отъ васъ,
Что и его вы тоже отпустили
Отыскивать Жаръ-Птицу; онъ дитя!
Ну, мало ли, что́ можетъ съ нимъ случиться.
Мы, напримѣръ, мы, кажется, не дѣти,
И мы не разъ спасались отъ бѣды
Лишь случаемъ. Большіе переѣзды,
Вертепы, горы, дикіе лѣса,
Наполненные лютыми звѣрями!
И кое-гдѣ разбойники—не шутка!

Царь Выславъ.

Ты правъ, мой сынъ: не должно было мнѣ
Пускать его. Да мнѣ же и хотѣлось,
Чтобъ онъ остался утѣшать меня;
Я всячески доказывалъ ему,
Что молодъ онъ, что этотъ подвигъ труденъ,
Опасенъ, что мнѣ нужно при себѣ
Имѣть всегда хоть одного изъ васъ;
Я говорилъ, что мало ли что́ можетъ
Вдругъ сдѣлаться. Онъ плакалъ, горячился,
Упрашивалъ меня, мнѣ представлялъ
Свои причины, мысли и надежды
Такъ жалобно и страстно, что я самъ
Разнѣжился и отпустилъ его.

Ахъ, живъ ли ты, мой другъ, Иванъ Царевичъ?
(Плачетъ.)

(Елена плачетъ.)

Димитрій Царевичъ.

Царь-батюшка! смотрите, какъ она
Васъ полюбила, милая Елена!
Заплакала, увидя ваши слезы!

Елена.

Я не могу не плакать!

Димитрій Царевичъ.

Перестаньте, что вы!
Вы позабыли добрый мой... совѣтъ!
Не плачьте же—вотъ выпейте вина!

XVI.

Тѣ-же и Иванъ Царевичъ.

Елена *(бросаясь ему на шею).*

Иванъ Царевичъ! мой Иванъ Царевичъ!

Царь Выславъ.

Мой милый сынъ, ты живъ и цѣлъ, мой сынъ!
А мы-было... Прекрасная Елена!
Чтó это значитъ? Гдѣ же вы его?...

Елена.

Онъ мой женихъ, мой милый и сердечный,
Иванъ Царевичъ. Онъ досталъ для васъ
Жаръ-Птицу, златогриваго коня,
И для себя невѣсту, но дорòгой
Его убили, а его добычу
Похитили!

Василій Царевичъ *(на колѣняхъ).*

Царь-батюшка, прости насъ,

Мы виноваты! Братъ Иванъ Царевичъ!
Мы виноваты, мы тебя убили!
Присвоили себѣ твое добро,
Твои злодѣи...

Димитрій Царевичъ.

Зависть насъ смутила.

Царь Выславъ.

Я ровно ничего не понимаю:
Они тебя убили, милый сынъ,
Такъ какъ же ты живой къ намъ воротился?

Иванъ Царевичъ.

Я въ самомъ дѣлѣ былъ убитъ; они,
Царь-батюшка, зарѣзали меня
И мертваго покинули въ лѣсу.

Димитрій и Василій Царевичи.

Иванъ Царевичъ, добрый, милый братъ!
Иванъ Царевичъ! будь великодушенъ!

Иванъ Царевичъ.

Я былъ бы съѣденъ хищными звѣрями
И птицами; но, знать, судьбѣ угодно,
Чтобы не то случилось. Сѣрый волкъ,
Волшебный волкъ, пріятель мой, который
Мнѣ чрезвычайно много услужилъ
Въ моихъ дѣлахъ (я всѣмъ ему обязанъ),
Нечаянно зашелъ въ тотъ самый лѣсъ,
Узналъ меня, и, сжалясь надо мною,
Сталъ думать, какъ помочь моей бѣдѣ!
Сталъ думать; вотъ увидѣлъ онъ, что воронъ
И съ нимъ два вороненка прилетѣли
Поѣсть меня. Онъ спрятался за кустъ,
И только-что они на мнѣ усѣлись
И начали свой голодъ утолять—

Онъ прыгъ изъ-за куста на вороненка,
Схватилъ его и хочетъ растерзать!
Тогда взмолился волку старый воронъ,
Чтобъ не губилъ онъ дѣтища его.
„Послушай же ты, Воронъ Вороновичъ!“
Сказалъ ему мой добрый волкъ: „слетай
За тридевять земель, и поскорѣе
Мнѣ принеси воды живой и мертвой.
Не принесешь, такъ будешь ты безъ сына;
А принесешь, я отпущу его
И цѣлымъ и здоровымъ.“—„Принесу,“
Сказалъ ему проворно старый воронъ,—
И полетѣлъ, и воротился къ волку
На третьи сутки, и принесъ ему
Два пузырька съ лѣкарствомъ. Сѣрый волкъ
Взялъ ихъ, а вороненка разорвалъ,
И части спрыснулъ мертвою водою,
И вороненокъ сросся отъ лѣкарства;
Тутъ спрыснулъ онъ его живой водою,
И вороненокъ ожилъ, встрепенулся
И улетѣлъ; волкъ за меня принялся,
И вылѣчилъ отъ смерти и довезъ
Меня домой до городской стѣны.

Царь Выславъ.

Теперь я понялъ. Ахъ, они злодѣи!
Братоубійцы!...

Василій Царевичъ.

Братъ, Иванъ Царевичъ,
Царь-батюшка, прекрасная Елена!
Простите насъ!

Царь Выславъ.

Прочь отъ меня!

Василій Царевичъ.

Не будемъ
Впредь никогда, исправимся, полюбимъ
Всѣхъ васъ. Ахъ, будьте милосерды,
Простите насъ, прекрасная Елена!

Иванъ Царевичъ.

Я васъ прощаю, встаньте!

Елена.

Я прощаю!

Димитрій Царевичъ.

Царь-батюшка, ужели ты одинъ...

Царь Выславъ.

Ты слишкомъ добръ, Иванъ Царевичъ. Встаньте!

Димитрій Царевичъ и Василій Царевичъ.

(Встаютъ и обнимаютъ брата.)

Дай намъ обнять тебя, любезный братъ,
Забудь великодушно.

Иванъ Царевичъ.

Все забуду!
И станемъ жить, какъ братья жить должны!
Царь-батюшка, она моя невѣста!

Елена.

Ты мой женихъ, моя любовь и радость,
Мой нѣжный другъ!

Димитрій Царевичъ и Василій Царевичъ.

(Съ бокаломъ въ рукахъ.)

Да здравствуетъ Иванъ
Царевичъ и прекрасная Елена!

Иванъ Царевичъ *(беретъ бокалъ).*

Да здравствуетъ царь-батюшка и вы,
Со мною помирившіеся братья!

Царь Выславъ.

Живите мирно, сыновья мои,
Единодушно, ласково другъ съ другомъ,
Безхитростно, и будете счастлйвы,
И будете отрадою отцу
На старости. Благодарю тебя,
Иванъ Царевичъ, видѣлъ я Жаръ-Птицу:
Прекрасная, единственная, чудо!
Величиной съ павлина! Золотыя
И радужныя перья! А глаза,
Какъ двѣ звѣзды востока! Для нея
Мы выстроимъ высокія палаты
Съ зеркальными окошками! Василій,
Поди и прикажи подать сюда
Десятокъ яблоковъ завѣтныхъ! Эта птица!
Особенно мнѣ нравится у ней
Хвостъ! Вотъ такъ хвостъ! величественный хвостъ!
Раскидистый и разными лучами
Сіяющій...

Иванъ Царевичъ.

Да здравствуетъ Жаръ-Птица!

Н. Языковъ.

СТАРИННАЯ СКАЗКА

О

СУДЬѢ ШЕМЯКѢ.

Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ, стояла деревня. Въ той деревнѣ жили-были два мужика: Голой Ерема да Ѳома Большая Крома. Вотъ, пришла къ нимъ зима сиволапая, затрещали избушки, повалилъ снѣгъ. У кого тепло, у кого добро, а Ерема лежитъ на нетопленой печи, дуетъ въ кулаки, да думаетъ: „Ухъ! холодно! нынѣ и морозы стали сердитѣе: нигдѣ мѣста не находишь! Дай-ка, поѣду я въ лѣсъ, дровъ нарублю, да печку вытоплю!“—Пошелъ къ сосѣду, попросилъ сани. Пришелъ къ Ѳомѣ, проситъ лошади. На Ѳому въ тотъ разъ добрый стихъ нашелъ.

— Изволь,—говоритъ,—возьми лошадь.

Ерема поклонился, взялъ лошадь, повелъ къ себѣ, да, идучи-то, и думаетъ: „Экой я дуралей! Выпросилъ я лошадь, а хомута не взялъ. Какъ же я запрягу ее? Идти опять къ Ѳомѣ—еще разсердится, и лошаденки не дастъ. Идти къ сосѣдямъ—скажутъ: что за дуракъ, хомутъ забылъ, когда лошадь бралъ! Да и придется ли чужой хомутъ по лошадкѣ?“—Голь мудрена. Думалъ, думалъ, да

и вздумалъ: „привяжу я лошадь къ санямъ хвостомъ?“— Точно! привязалъ, перекрестился, поѣхалъ.

Ну, ѣхалъ онъ близко ли далеко, низко ли высоко, скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается. Ерема нарубилъ возъ дровъ и поѣхалъ назадъ. Ладно дѣло! Пріѣхалъ домой, отворилъ ворота, да и забылъ подворотню вынуть; нукнулъ на лошадь; та уперлась, двинулась: сама-то на дворъ взошла, а возъ-то на улицѣ остался, и съ хвостомъ!

Этакое горе! Какъ теперь къ Ѳомѣ показаться? Чтó онъ скажетъ? Взялъ лошадь съ хвостомъ, а отдаешь безъ хвоста! Но, такъ какъ дѣлать было нечего, побрелъ Ерема къ Ѳомѣ, повелъ съ собою и лошадку безхвостую.

Какъ закричитъ на Ерему Ѳома Большая Крома, закричитъ, какъ только богатые на бѣдныхъ кричать умѣютъ; у Еремы и ноги подкосились! Повалился онъ въ ноги Ѳомѣ, проситъ, плачетъ, умоляетъ. Нѣтъ пощады!

— Какъ ты смѣлъ! Какъ ты дерзнулъ! Какъ ты могъ у моей лошади хвостъ выдернуть!

Ерема увѣрялъ, что она сама его выдернула, отдавалъ себя въ заработку, просилъ простить, просилъ прибить, да только простить.

— Ни прощать, ни бить тебя не стану, — отвѣчалъ Ѳома,—а пойдемъ-ка, пріятель дорогой, къ судьѣ Шемякѣ! Пусть онъ разсудитъ, и что́ онъ велитъ, то и будь!

Что станешь дѣлать! Ѳома ухватилъ Ерему за воротъ и повелъ его къ судьѣ Шемякѣ.

Недалеко ужь имъ и до Шемяки судьи, и думаетъ Ерема: „Ну, и безъ бѣды судья бѣда, а у меня такая бѣда надъ головою—куда я дѣнусь! Сгинь моя голова побѣдная! Вотъ подходимъ мы къ мосту, а подъ мостомъ прорубь немалая. Перекрещусь, да брошусь въ прорубь—поминай, какъ звали!“

Сказано—сдѣлано. Только поравнялись съ серединой моста, Ерема говоритъ:

— Постой, Ѳома Карпычъ! Вонъ видно отсюда село—дай перекреститься на Божью церковь!

Опустилъ Ѳома Ерему, а онъ снялъ шапку, положилъ ее на перила моста, перекрестился, да какъ махнетъ съ

моста—только и видѣли его! Бросился Ѳома къ периламъ, глядитъ—глазамъ не вѣритъ: Ерема стоитъ подъ мостомъ,

на льду, живёхонекъ, и держитъ его тамъ зá воротъ здоровый мужичина; подлѣ стоитъ лошадь, запряженная въ сани, а въ саняхъ лежитъ кто-то и молчитъ.

Сбѣжалъ Ѳома внизъ, а мужичина уже на встрѣчу ползетъ, Ерему съ собой зà воротъ волочетъ.

— Что, добрый человѣкъ,—сказалъ Ѳома;—какъ звать тебя, не знаю... Куда это волочешь ты этого окаяннаго Ерему?

— Зовутъ меня Артамонъ, сынъ я Сидоровичъ,—отвѣчалъ мужичина.—А ѣхалъ я съ бачкой моимъ къ куму въ гости, новаго пива отвѣдать. Подъѣхали мы подъ этотъ мостъ, и вдругъ свалился съ моста вотъ этотъ окаянный, прямо на моего бачку, и отправилъ его въ дальную дорогу, такъ, что онъ передъ смертью и пожалѣть не успѣлъ, что у кума пива молодаго не отвѣдалъ. Вотъ я и поворотилъ оглобли: веду этого прыгуна къ судьѣ Шемякѣ; пусть онъ у него попрыгаетъ, да научится, каково съ мосту не оглядѣвшись бросаться, да добрыхъ людей давить!

— Хе, хе!—возгласилъ тогда Ѳома, по прозванію Большая Крома,—такъ я тебѣ добрый попутчикъ!

Подошли наши просители къ дому судьи Шемяки, смотрятъ: домъ стоитъ во дворѣ, на всей красотѣ, а надъ домомъ поставлена превеликая надпись:

„Домъ правосуднаго судіи Шемяки.“

Ворота растворены настежь, и отъ самыхъ воротъ до крыльца дубоваго снѣгъ расчищенъ, песочкомъ дорожка посыпана—свободный входъ всякому, бѣдному и богатому.

— Ай, да судья Шемяка!—говорятъ просители,—да у насъ и къ сотскому такого свободнаго входа нѣтъ!

Смотрятъ они еще: подлѣ воротъ на улицѣ, по обѣ стороны, врыты два столба высокіе, и подлѣ каждаго столба стоитъ земскій ярышка съ дубинкой, а на столбахъ прибиты листы, и на листахъ написано что-то такими крупными буквами, что и слѣпой прочитаетъ. Нашимъ просителямъ жаловаться судьѣ Шемякѣ было дѣло небывалое, не знаютъ они ни суда, ни обряда. Сняли шапки, кланяются ярыжкамъ, и хотятъ идти прямо во дворъ, въ ворота.

— Стой!—закричалъ одинъ ярыжка.—Сперва прочитай, что̀ на столбѣ написано!

Просители поглядѣли другъ на друга и отвѣчали:

— Грамотѣ не знаемъ, кормилецъ!

— Ну, такъ слушайте, я вамъ прочту: „Вѣдомо симъ чинится всякому, что никто изъ жалобщиковъ, приходящихъ къ судьѣ Шемякѣ, никакихъ взятокъ никому давать не долженъ, а паче чаянія кто что дастъ, будетъ судиться, яко виновный въ подкупѣ.“

— Ай, да кормилецъ судья Шемяка!—вскричали просители.

— Ну, теперь давай же за прочтеніе!—сказалъ имъ ярыжка, протягивая руку.

— Какъ: давай? Да вѣдь ты самъ о томъ читалъ, чтобы мы не давали?

— Да развѣ я взятку съ тебя прошу?—вскричалъ ярыжка;—это законное дѣло. Кто тебѣ не велѣлъ грамотѣ знать самому!

— А еслибы мы сами грамотѣ знали?

— Тогда вы должны бъ были заплатить за то, что сами прочитали. Толковать нечего! Давай, а не то дубинкой по лбу съѣзжу; забудешь, какъ твоего отца зовутъ, да

еще въ тюрьмѣ насидишься за ослушаніе противъ начальства и своевольство!

Толковать было, въ самомъ дѣлѣ, нечего; просители вынули свои мошны, заплатили по алтыну.

— Теперь ступайте къ другому столбу!—проговорилъ ярыжка.

Просители подошли къ другому столбу.

— Знаете грамотѣ?—спросилъ товарищъ ярыжки.

— Нѣтъ, кормилецъ!

— Такъ слушайте: „Вѣдомо симъ чинится всякому, что каждый жалобщикъ, приходящій къ судьѣ Шемякѣ, имѣетъ быть къ нему допущенъ свободно, во всѣ *положенные* часы, и никто не смѣетъ пришедши уйдти назадъ, подъ опасеніемъ быть судимымъ, яко виноватый.“

— Слышимъ, кормилецъ!—отвѣчали просители, низко кланяясь.

— Давай же за объявленіе,—сказалъ ярыжка,—и отговариваться не смѣй, понеже за ослушаніе будешь виноватъ!

Просители поглядѣли другъ на друга и заплатили еще по алтыну.

— А ты, молодецъ, что не платишь?—спросили ярыжки Ерему.

— У меня нечего дать,—отвѣчалъ Ерема.

— Такъ и не смѣй ты идти къ судьѣ Шемякѣ, коли за прочтеніе да за объявленіе приказовъ не платишь—пошелъ прочь!

— Да я и не желаю идти къ судьѣ,—сказалъ Ерема;—спасибо вамъ, господа земскіе ярыжки! Пожалуй, хоть пріударьте еще меня въ толчки, да прогоните!

— Давай затылокъ, за этимъ дѣло не станегъ!

Тутъ Ѳома и Артамонъ испугались, кланяются; говорятъ:

— Господа земскіе ярыжки! ведемъ мы его къ судьѣ Шемякѣ, а если вы его прогоните, такъ кого же судья судить будетъ?

— Намъ какое дѣло! Платите за него вы, а безъ того не пустимъ.

Просители постояли, подумали, опять развязали мошны и заплатили за Ерему по доброму грошу съ брата. А Ерема между тѣмъ расхаживалъ на улицѣ подлѣ воротъ, увидѣлъ камешекъ порядочный, подумалъ, завернулъ его въ тряпичку и спряталъ за пазуху.

— Все вымѣстимъ на лиходѣѣ нашемъ, когда будемъ у судьи Шемяки!—говорили просители, идутъ, прошли сквозь широкія ворота, пошли по чистой, гладкой, широкой дорожкѣ.

— Стой!—закричали два новые ярыжки и выскочили изъ будокъ, которыя поставлены были во дворѣ по обѣимъ сторонамъ воротъ, такъ, что съ улицы совсѣмъ не были видны.—Куда? Зачѣмъ?

— Къ судьѣ Шемякѣ.

— Давай по три алтына!

— За что, кормильцы?

— Положенное за входъ во дворъ судейскій.

— Что, Артамонъ Сидоровичъ, платить ли намъ?—спросилъ Ѳома, который былъ скупѣе товарища.—Не вернуться ли намъ?

— Такъ заплатите по шести алтынъ за выходъ!—вскричали ярыжки.

Ни взадъ, ни впередъ! Попались молодцы! Ерема и думать ни о чемъ не хотѣлъ, потому что ему, какъ голому, и тутъ угрожали только толчками, а просители поморщились, да опять за него заплатили.

— Шапки долой! Пени по пяти алтынъ!—закричалъ

главный ярыжка, когда просители подошли къ судейскому крыльцу. Они и не замѣтили, какъ онъ вывернулся, откуда взялся. То-то и бѣда, что просителямъ кажется чистая, широкая дорога къ судейскому крыльцу, а какъ пойдутъ по той дорогѣ, ярыжки словно изъ-подъ земли вывертываются, да такъ змѣйкой въ карманъ и лѣзутъ.

— Послушай-ка, кормилецъ,—сказалъ Ѳома главному ярыжкѣ.—Читали намъ *проказы* у воротъ, чтобы никому взятокъ не давать.

— Да развѣ вы давали кому-нибудь? Развѣ съ васъ взятки взялъ кто-нибудь? Скажите скорѣе: бѣда и вамъ, и тому бѣда, кто взялъ!

— А вотъ, кормилецъ, заплатили по алтыну у перваго столба.

— За *прочтеніе*.

— Да по алтыну у другаго столба.

— За *объявленіе*.

— Да по три алтына, когда вошли во дворъ.

— За *вхожденіе*.

— А ты, кормилецъ, за что́ берешь?

— За то, что вы у крыльца шапокъ не сняли.

— А еслибы мы сняли?

— Такъ заплатили бы за *здорово живешь*.

— Какъ: за здорово живешь?

— Да такъ, потому что я приставленъ здѣсь говорить всякому, кто не придетъ: „*здорово живешь*“, а за это взносится по пяти алтынъ.

— Была не была!—Заплатили молодцы, взошли на высокое судейское крыльцо, подошли къ двери. Дверь заперта. Стукнули разъ, и за дверью кто-то сиплымъ голосомъ произнесъ: „Гривна!“ — Стукнули въ другой, и тотъ-же голосъ произнесъ: „Другая!“ — Стукнули въ

третій, и тотъ-же голосъ въ третій разъ промолвилъ: „Третья!“

— Ой, братъ! да не на нашъ ли карманъ это насчитываютъ!—молвилъ Ѳома.

— Подразумѣвается!—произнесъ невидимка; маленькое окошечко въ двери отворилось; протянулась изъ него костлявая рука, крючкомъ изогнутая, и невидимка за дверью произнесъ:—Положи по три гривны съ брата!

— Кормилецъ! за что же?

— А за то, что вы въ *положенный* день пришли. Развѣ не читали приказа у входа?

— Артамонъ Сидоровичъ! не пойдти ли намъ назадъ!—шепнулъ Ѳома.

— Такъ за безчестье положенному дню и напрасное челобитье давай по шести гривенъ.

— Отворяй двери—бери деньги!

— Нѣтъ! сперва заплати, тогда отворятъ.

— Нà, бери деньги.

— Взялъ.

— Отворяй.

— Нѣтъ! погоди—надобно еще дьяку доложить.

— Такъ иди, да докладывай!

Рука опять протянулась, а дверь не отворялась.

— Иди же докладывать?

— Вы должны *доложить*, а тогда и двери настежь!

Еще по гривнѣ съ головы слетѣло въ костлявую руку невидимки. Дверь наконецъ растворилась. Глядятъ просители: стоитъ цѣлый рядъ подьячихъ, протянулся до самого того стола, за которымъ сидитъ дьякъ, пишетъ, перомъ пощелкиваетъ и не глядитъ.

Не знали просители что̀ тутъ дѣлать. И вотъ съ правой стороны протянулась подьяческая рука крючкомъ и

говоритъ первый подьячій: „На отопленіе судейской!“ Протянулась другая, говоритъ другой: „На бумагу для жалобы!“ Протянулась третья, говоритъ третій: „За записку просьбы.“ Протянулась четвертая, говоритъ четвертый: „За печать!“ Протянулась пятая... Словомъ, протянулось четырнадцать рукъ, и каждая вытянула изъ мошны у каждаго просителя по нѣскольку алтынъ. И съ горя, и съ расходовъ, и съ холоду, повалились просители въ ноги дьяку, кричатъ, вопятъ:

— Смилуйся, отецъ!

— Что вы?—спросилъ дьякъ.

— Жаловаться судьѣ Шемякѣ.

— На жалобу нѣтъ запрещенія. Справедлива ли жалоба?

— Эй, отецъ, ужь какъ справедлива, кормилецъ!

— Не бралъ ли кто-нибудь съ васъ взятокъ, пока вы дошли до меня?

— Нѣтъ, кормилецъ! брали съ насъ много, а взятокъ не бралъ никто.

— Имѣешь ли ты *наличныя* доказательства въ правотѣ своего дѣла?—спросилъ дьякъ у Ѳомы.

Тотъ подумалъ, подумалъ, и отвѣчалъ:

— Со мной никакихъ доказательствъ на лицо нѣтъ!

— Хорошо, а ты имѣешь ли?

— Нѣтъ!

— А ты имѣешь ли?

Ерема смѣкнулъ и отвѣчалъ:

— Имѣю.

— Покажи.

Ерема вынулъ изъ-за пазухи камень въ тряпичкѣ, и изъ-за спины Ѳоминой показалъ дьяку.

— Ладно!—молвилъ дьякъ. Онъ всталъ, растворилъ двери и ввелъ просителей въ судейскую.

стрн. 74.

Глядятъ наши молодцы: сидитъ старый судья Шемяка, на большой скамьѣ, за большимъ столомъ; съ одной стороны стоитъ чернилица въ полтора ведра; съ другой лежатъ большою охапкою перья лебединыя. Хорошъ судья Шемяка, толстъ, красенъ, дороденъ. ноздри раздуваетъ, правду изрекаетъ. Испугались, струсили, оробѣли наши просители, кланяются въ землю.

— Судья Шемяка!—заговорилъ дьякъ, подошедши къ судейской скамьѣ;—бьютъ тебѣ челомъ два просителя на одного отвѣтчика!

— Гмъ!—промолвилъ Шемяка и поднялъ носъ кверху.

— *Наличныхъ* доказательствъ не имѣютъ!

— Гмъ!—промолвилъ опять Шемяка и погладилъ по широкой своей бородѣ рукою.

— Не имѣютъ! А отвѣтчикъ наличныя доказательства *имѣетъ*!

— Гмъ!—молвилъ еще разъ Шемяка, потянулся по лавкѣ, выдвинулъ брюхо впередъ, голову закинулъ за спину, глаза уставилъ въ потолокъ, сложилъ ногу на ногу и сказалъ:—Объявленъ ли просителямъ приказъ, что посуловъ не принимаютъ?

— Объявленъ.

— И такъ, судъ *по формѣ* начинается. Жалуйтесь по порядку!

И вотъ Ѳома повалился въ ноги судьѣ Шемякѣ, объясняетъ сущую правду, ка́къ Ерема у лошади его хвостъ выдернулъ.

— Ну, что ты, отвѣтчикъ, скажешь?—возговорилъ судья Шемяка.

— Я не виноватъ, что онъ не далъ мнѣ хомута, и что у его лошади хвостъ не крѣпко держался.

— А чѣмъ докажешь?

Ерема не отвѣчалъ, а изъ-за Ѳомы показалъ судьѣ Шемякѣ камень въ тряпичкѣ.

— Гмъ!—промолвилъ судья Шемяка и тихо прибавилъ:—*„сто рублей навѣрное.“*

— Правъ!—возгласилъ онъ.—Слушай, проситель: отдай ты свою безхвостую лошадь этому негодяю, и пусть онъ держитъ ее у себя до тѣхъ поръ, пока у нея опять хвостъ выростетъ. Тогда возьми себѣ лошадь, и съ хвостомъ, а если онъ хвоста отдавать не будетъ, дозволяется тебѣ жаловаться законнымъ порядкомъ. Дьякъ! вывести просителя, и взять съ него надлежащую подписку, пошлины, приказный сборъ и прочее, какъ слѣдуетъ.

Ѳому подхватили и повели въ подъяческую, а Артамонъ повалился въ ноги судьѣ Шемякѣ, объясняетъ сущую правду, какъ Ерема съ моста прыгнулъ и отца его задавилъ.

— Ну! что ты, отвѣтчикъ, скажешь?—возговорилъ судья Шемяка.

— Я не виноватъ, что отцу его вздумалось подъѣхать подъ мостъ, когда я прыгнулъ, и что отецъ его не увернулся, когда я на него упалъ.

— А чѣмъ докажешь?

Ерема не отвѣчалъ, а изъ-за Артамона показалъ судьѣ Шемякѣ камень въ тряпичкѣ.

— Гмъ!—промолвилъ судья Шемяка, и тихо прибавилъ:—*„еще сто рублей навѣрное!“*

— Правъ!—возгласилъ онъ.—Слушай, проситель: поди ты, стань на мостъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ этотъ негодяй, а его поставь на то самое мѣсто, гдѣ ѣхалъ твой отецъ, и потомъ спрыгни на него съ моста и задави его, точно такъ-же, какъ онъ задавилъ твоего отца. А если ты, спрыгнувши, его не задавишь, дозво-

ляется тебѣ снова жаловаться на него законнымъ порядкомъ. Дьякъ! вывести просителя, и взять съ него надлежащую подписку, пошлины, приказный сборъ и прочее, какъ слѣдуетъ.

Артамона подхватили и повели въ подъяческую. Остались въ судейской судья Шемяка, дьякъ да Ерема.

— Ну!— сказалъ судья Шемяка; — доволенъ ли ты моимъ судомъ?

— Доволенъ,—отвѣчалъ Ерема.

— Такъ подавай же доказательства того, что доволенъ.

— И за этимъ не станетъ!—отвѣчалъ Ерема, вынулъ тряпичку, развязалъ и показалъ судьѣ Шемякѣ камень.

— Какъ?—воскликнулъ Шемяка.—Стало быть, ты не хотѣлъ мнѣ за каждое рѣшеніе давать по сту рублей, и не деньги, а камень мнѣ показывалъ? Для чего же ты мнѣ его показывалъ?

— А вотъ для чего: еслибы ты судилъ не по мнѣ, такъ я этимъ камнемъ прямо бы тебѣ въ лобъ пустилъ!

Судья Шемяка посмотрѣлъ на камень, подумалъ и сказалъ:—Увѣсистъ камешекъ выбралъ!—Потомъ онъ перекрестился и промолвилъ:—Слава Богу, что я по немъ судилъ! Еслибы, да пустилъ онъ мнѣ въ лобъ этимъ камнемъ, такъ навѣрное лбу моему уцѣлѣть было бы невозможно. Но, на чемъ же ты основывался, оправдываясь въ судѣ такимъ образомъ?

— На извѣстной поговоркѣ, правосудный судья Шемяка: семь бѣдъ—одинъ отвѣтъ.

— Правъ, правъ! — возгласилъ судья Шемяка.—Казусное однакожь дѣло! Дьякъ! вытолкать этого негодяя, а впередъ постановить правиломъ на судѣ: не принимать наличныхъ доказательствъ безъ надлежащаго предварительнаго осмотрѣнія, и если кто таковыя, или тѣмъ по-

добныя доказательства представить вознамѣрится, каковыя сей негодяй представилъ, то оныхъ не принимать, *поелику*... Ну, да „поелику"-то ты ужь тамъ подведи, какъ законы повелѣваютъ!

Ерему вытолкали изъ судейской, а у воротъ на улицѣ встрѣтилъ онъ Ѳому и Артамона, которые стояли и думали: „Жаль хвоста, да все-таки лошадь-то и безъ хвоста денегъ стоитъ!—Жаль отца, да все-таки своя голова на что-нибудь да пригодится!"

— Ерема!—сказалъ Ѳома,—чѣмъ брать тебѣ у меня лошадь безхвостую, возьми лучше корову, и передъ тобой она! Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ!

— Пожалуй!—отвѣчалъ Ерема.

— Ерема!—сказалъ Артамонъ,—чѣмъ мнѣ прыгать на тебя съ моста, возьми лучше, я подарю тебѣ, хату теплую, владѣй на здоровье: вѣдь иной разъ такъ прыгнешь, что потомъ и прыгать не станешь!

— Пожалуй!—отвѣчалъ Ерема.—Давно бы вамъ такъ. Право, худой миръ лучше доброй ссоры.—

И конецъ *сказкѣ о судьѣ Шемякѣ*!

Н. Полевой.

Правда и Кривда.

ивутъ у насъ на землѣ Правда да Кривда: живетъ Правда и во дворцѣ, и въ барскихъ хоромахъ, и въ крестьянской избѣ; молвитъ народъ, что она у Бога живетъ; мыкается и Кривда всюду: и по царскимъ палатамъ, и по боярскимъ теремамъ, и по бѣднымъ лачугамъ; о Кривдѣ народъ молвитъ, что привилась она къ землѣ, и по ней стелетъ и мелетъ, и вретъ и плететъ.

Вотъ разъ идетъ по землѣ Правда, чище краснаго

солнца: люди ей сторонятся, шапки снимаютъ, чествуютъ; а она каждому изъ своихъ ясныхъ очей привѣтомъ въ очи свѣтитъ. Вотъ и идетъ Божія Правда по землѣ, ни шатко, ни валко, ни нá сторону, прямо какъ стрѣла! На встрѣчу ей изъ косаго переулка идетъ Кривда, ковыляя да пошатываясь; заслонила рукой глаза, прищурилась на Правду; а Правда—чтó солнышко: на нее Кривдѣ во всѣ глаза не глянуть!

— Ба, ба, ба!—говоритъ себѣ подъ носъ Кривда;—да это никакъ святая душа на костыляхъ, чтó люди Правдой зовутъ. Ужь куда какъ мнѣ эта Правда надоѣла: какъ глянетъ въ лицо, то словно горькій дымъ глаза ѣстъ! Хоть бы какъ ни на есть извести ее, постылую!

Кривдѣ за худымъ дѣломъ не далеко ходить; какъ разъ надумала. Подковыляла она, щурясь, къ Правдѣ, низенько ей поклонилась, и говоритъ сладкимъ голоскомъ:

— Что тебя, золотая Правда, давно не видать? аль заспѣсивилась? А еще про твою милость народъ молвитъ, что безъ тебя люди не живутъ, а маются. По моему-жь худому разуму, такъ дѣло-то на-оборотъ (прости на правдивомъ словѣ): съ тобой люди маются, а со мной душа въ душу сживаются, и наше житьё-бытьё идетъ какъ по маслу.

Глянула Правда Кривдѣ въ подслѣпые очи, да и говоритъ:

— Нѣтъ, Кривда, худо тому, кто съ тобой дружится; съ тобой весь свѣтъ пройдешь, да назадъ не вернешься! Ложь не живуча!

Какъ разсердится Кривда за правдивое слово, да, ощетинясь, закричитъ, зашипитъ на всѣ свои голоса:

— Вишь, чтó выдумала—я-ль не живуча! А знаешь поговорку: „соврешь—не помрешь“? Да я на людей сошлюсь, что со мной жить лучше, чѣмъ съ тобой!

Правда покачала головой, сказала: „Нѣтъ!“ и пошла своимъ путемъ. Она въ увертки да извороты не пускается, много словъ не раздаетъ; у нея либо „*да*“, либо „*нѣтъ*“.

Увязалась Кривда за Правдой, зацѣпила клюкой и не пускаетъ.

— Давай,—говоритъ,—объ закладъ биться, что людямъ со мной лучше ужиться!

— Давай,—говоритъ Правда;—вотъ сто рублей. Смотри, Кривда, проспоришь!

— Ладно, посмотримъ, чья возьметъ! Пойдемъ судиться къ третьему, на третейскій судъ, вотъ хоть къ писарю; онъ недалечко живетъ.

— Пойдемъ,—сказала Правда.

И пошли. А Кривда тѣмъ временемъ стянула у прохожаго бумажникъ да платокъ изъ кармана и спрятала къ себѣ въ карманъ. Вотъ пришли онѣ къ писарю; стала Правда свое дѣло сказывать, а Кривда тѣмъ временемъ кажетъ писарю изъ-подъ полы деньги да платокъ. А писарь—человѣкъ бывалый, какъ разъ догадался что́ дѣлать; вотъ и говоритъ:

— Проспорила ты, Правда, свои денежки: въ наше время лучше жить Кривдой; сытѣе будешь!

Нечего дѣлать, отдала Правда сто рублей сполна, а сама все стоитъ на своемъ, что лучше-де жить Правдой.

— Экая ты неугомонная!—подзадоривала ее Кривда;—давай опять объ закладъ биться: я ставлю тысячу рублей въ конъ, а ты, коли денегъ нѣтъ, ручайся глазами своими.

— Хорошо,—сказала Правда.

Вотъ и пошли онѣ опять судиться третейскимъ судомъ къ боярину. Выслушалъ ихъ бояринъ, вздохнулъ и говоритъ:

— Ну̀, матушка Правда, проспорила ты ясныя очи свои: хороша святая Правда, да въ люди не годится.

Заплакавши, Правда боярину слово молвила:

— Не ищи же ты, бояринъ, Правды въ другихъ, коли въ тебѣ ея нѣту!

А Кривда зацѣпила Правду клюкой и повела изъ города вонъ. Идетъ Правда, слезку за слезкой роняетъ: горько ей, что люди чествовать чествуютъ ее, а Правдой жить не могутъ.

Вотъ вывела ее Кривда въ поле, выколола ей глаза, да еще толкнула, такъ что Правда упала ничкомъ на землю. Отдохнувъ, она поползла ощупью, а куда ползетъ—и сама не знаетъ. Вотъ она схоронилась въ высокой болотной травѣ и пролежала тамъ до ночи.

Вдругъ, въ полночь, налетѣла со всѣхъ сторонъ недобрая сила и стала другъ передъ другомъ хвалиться, кто больше зла надѣлалъ:

— Я,—говоритъ одинъ,—мужа съ женой поссорилъ!

— Я,—говоритъ другой,—научилъ дѣтей не слушаться отца съ матерью!

— А я,—кричитъ третій,—весь день училъ дѣтей лгать да лакомства красть!

— Эка невидаль—ребенка сдѣлать воромъ да лгуномъ!—кричитъ Кривда.—А я такъ всѣхъ васъ за̀ поясъ заткну: я переспорила Правду, взяла съ нея сто рублей, да еще выколола ей глаза! Теперь Правда ослѣпла, стала тою-же Кривдой!

— Ну!—крикнулъ на̀большій,—далеко кулику до Петрова дня! Правда живуча, на водѣ не тонетъ, на огнѣ не горитъ; сто́итъ ей только очной травкой глаза потереть—сейчасъ все какъ рукой сниметъ!

— Да гдѣ-жь она добудетъ этого зелья?

— Травы этой на горѣ, по залежамъ, не оберешься.

Лежитъ Правда въ осокѣ, къ рѣчамъ прислушивается;

а какъ только разлетѣлась недобрая сила, то она поползла въ гору, на заброшенную старую пашню, сѣла на залежь и стала травку за травкой срывать да къ очамъ прикладывать. Вотъ и добралась она до очной травы, потерла ею глазокъ,—прозрѣла; потерла другой,—и другимъ прозрѣла!

„Хорошо“, думаетъ она, „наберу-ка я этой травы; авось и другимъ спонадобится.“

И нарвала она цѣлое беремя, навязала въ пучечки и понесла домой.

Въ-долгѣ ли, въ-короткѣ ли, въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ, ослѣпла у царя единою единая дочь; и ужь чего не дѣлали, какъ не лечили царевну,—ничто не беретъ! Велѣлъ царь по своему и по сосѣднимъ царствамъ кличъ кликнуть: кто его царевну вылечитъ, тому онъ половину своей казны отдастъ, да еще полцарства въ придачу накинетъ. Вотъ и сошлись отовсюду лекаря, знахари, лекарки, взялись лечить; лечатъ полечатъ, а вылечить не могутъ!

Разсердился царь, велѣлъ всѣхъ помеломъ со двора согнать, а самъ сталъ думать да гадать, ка́къ своему горю пособить. Думалъ царь, думалъ,—ничего не надумалъ.

Приходятъ разъ слуги и докладываютъ ему, что пришла вѣщая странница, величаетъ-де себя Правдой, и берется царевну вылечить даромъ, за одно царское спасибо, а казны-де ей не надо.

Подивился царь и велѣлъ нянюшкамъ-мамушкамъ чудную знахарку къ царевнѣ свести.

Вошла Правда въ царевнинъ теремокъ, на иконы помолилась, царевнѣ поклонилась, вынула очну траву, потерла ею одинъ глазокъ,—царевна однимъ глазомъ прозрѣла; потерла другой,—другимъ прозрѣла, да, про-

зрѣвши, какъ вскочетъ отъ радости, да бросится въ отцовы палаты, стучитъ-бренчитъ, по переходамъ бѣжитъ; а за нею тьма тьмущая нянюшекъ, мамушекъ, сѣнныхъ дѣвушекъ въ догонку спѣшатъ. Какъ вбѣжала она къ отцу, да прямо ему въ ноги:

— Царь-государь, вижу тебя, родитель мой! Вижу яснѣе прежняго!

Царь до слезъ обрадовался, обнялъ дочь, цѣлуетъ, милуетъ ее, самъ о вѣщей знахаркѣ спрашиваетъ; а Правда ужь тутъ и царю правдивымъ привѣтомъ въ очи свѣтитъ.

— Чѣмъ тебя, вѣщая, наградить? — спрашиваетъ царь; —хочешь казны? Всю возьми! Хочешь царствовать? Полцарства бери!

Поклонилась Правда царю и говоритъ:

— Не надо мнѣ ни царства твоего, ни казны твоей; а если хочешь жаловать, такъ пожалуй меня въ твои старшіе судьи, чтобы безъ меня во всемъ царствѣ судьи твои ни одного дѣла не вершили.

Царь съ радостью согласился; ударили по рукамъ, — и съ тѣхъ поръ Правда поселилась въ той землѣ, невѣрныхъ судей смѣнила, праведныхъ посадила, уму-разуму да чести научила; а Кривдѣ таково житьё пришло, что она безъ оглядки оттуда бѣжала.

В. Даль.

Три зятя.

Или-были старикъ со старухой, и было у нихъ три дочери—всѣ три писаныя красавицы.

Поѣхалъ старикъ весной поле пахать. Небо все въ тучахъ; солнышка нѣту. Стало старика холодомъ прохватывать.

— Эхъ, — говоритъ, — кабы солнышко! Старшую бы дочь за него замужъ отдалъ, только бы погрѣло.

Солнышко и выглянуло.

Тутъ какъ тутъ и старшая дочь идетъ: несетъ отцу обѣдъ.

— Ну, — говоритъ старикъ, — сосваталъ я тебя, дочка, за солнышко. Живи ты съ нимъ въ миру да въ ладу; насъ не забывай!

Дочь говоритъ:—Спасибо, тятенька!

Зять говоритъ:—Къ намъ въ гости милости просимъ!

Какъ воротился старикъ домой, спрашиваетъ его жена:—А дочь гдѣ?

— Замужъ отдалъ.

— За кого?

— За солнышко.

— И слава Богу!

Немного времени спустя, поѣхалъ старикъ въ лѣсъ—дрова рубить. Позамѣшкался въ лѣсу: глядь — ужь и ночь; да темень такая, что топора въ рукахъ не видать.

— Эхъ,—говоритъ,—кабы мѣсяцъ! Среднюю бы дочь за него замужъ отдалъ, только бы посвѣтилъ.

Мѣсяцъ и выглянулъ.

Тутъ какъ тутъ и средняя дочь идетъ: грибовъ искала, да дорогу потеряла.

— Ну,—говоритъ старикъ,—сосваталъ я тебя, дочка, за мѣсяца. Живи ты съ нимъ въ миру да въ ладу; насъ не забывай!

Дочь говоритъ:—Спасибо, тятенька!

Зять говоритъ:—Къ намъ въ гости милости просимъ!

Какъ воротился старикъ домой, спрашиваетъ его жена:—А дочь гдѣ?

— Замужъ отдалъ.

— За кого?

— За мѣсяца.

— И слава Богу!

Подошли Петровки; поѣхалъ старикъ сѣно косить. На небѣ ни тучки; жаръ такой, что коса изъ рукъ валится; потъ съ лица градомъ.

— Эхъ,—говоритъ,—кабы вѣтеръ! Младшую бы дочь за него замужъ отдалъ, только бы холодкомъ пахнулъ.

Вѣтеръ и подулъ.

Тутъ какъ тутъ и младшая дочь идетъ: отцу завтракъ несетъ.

— Ну,—говоритъ старикъ,—сосваталъ я тебя, дочка, за вѣтра. Живи ты съ нимъ въ миру да въ ладу; насъ не забывай!

Дочь говоритъ:—Спасибо, тятенька!

Зять говоритъ:—Къ намъ въ гости милости просимъ!

Какъ воротился старикъ домой, спрашиваетъ его жена:—А дочь гдѣ?

— Замужъ отдалъ.

— За кого?

— За вѣтра.

— И слава Богу!

И стали старикъ со старухой жить вдвоемъ.

Недѣли не прошло, соскучился старикъ по старшей дочери.

— Дай,—говоритъ,— пойду, провѣдаю, какъ она съ мужемъ живетъ.

Вышелъ изъ дому зá-свѣтло; а какъ пришелъ къ зятю, совсѣмъ смерклось: солнышко съ женой ужь и спать улеглись на сѣновалѣ.

Поднялись они отца встрѣтить.

— Ну, жена,—говоритъ солнышко,—надо намъ тятеньку угостить. Затѣвай-ка блины!

— Что ты?—говоритъ жена:—стану я ночью печь разводить!

— Тѣста только замѣси, — говоритъ солнышко;—а печи разводить не нужно.

Сдѣлала она тѣсто; а солнышко и говоритъ:—Лей мнѣ нá голову!

Жена налила: блинъ и испекся.

Какъ погостилъ старикъ у зятя, да пришелъ опять домой, кричитъ старухѣ:

— Эй, старуха! затѣвай блины!

— Что ты, съ ума, знать, сошелъ?—говоритъ жена:— ночью да печку топить!

— Не надо печки топить. Мѣси, знай, тѣсто!

Замѣсила старуха тѣсто. Подставилъ ей старикъ голову.

— Лей,—говоритъ,—мнѣ на лысину!

Налила ему старуха, залѣпила старику и глаза, и уши, и носъ, и ротъ.

Три дня старикъ въ банѣ отмывался.

Еще недѣля прошла, соскучился онъ по средней дочери.

— Дай,—говоритъ,—пойду, провѣдую, какъ она съ мужемъ живетъ.

Вышелъ изъ дому за́-свѣтло; а какъ пришелъ къ зятю, совсѣмъ смерклось: мѣсяцъ съ женой ужь спать улеглись на подволокѣ.

Поднялись они отца встрѣтить.

— Ну, жена,—говоритъ мѣсяцъ,—надо намъ тятеньку угостить. Ступай-ка, принеси медку!

— Что ты?—говоритъ жена:—да какъ я въ потемкахъ-то въ погребъ пойду?

— Ничего,—говоритъ мѣсяцъ,—иди, знай! темно не будетъ.

Пошла она въ погребъ; а мѣсяцъ только палецъ надъ твориломъ подержалъ—всѣ углы освѣтилъ.

Какъ погостилъ старикъ у зятя, да пришелъ опять домой, кричитъ женѣ:

— Эй, старуха! давай-ка меду!

— Что ты? али рехнулся?—говоритъ старуха:—ночью да въ погребъ лѣзть!

— Ничего,—говоритъ старикъ;—я тебѣ посвѣчу.

Полѣзла старуха въ погребъ, а онъ надъ твориломъ палецъ держитъ.

Слетѣла въ-потьмахъ старуха съ лѣстницы, глазъ себѣ выколола.

Еще недѣля прошла, соскучился старикъ по младшей дочери.

— Дай,—говоритъ,—пойду, провѣдаю, какъ она съ мужемъ живетъ.

Къ младшей дочери поспѣлъ за̀-свѣтло.

Угостила она съ мужемъ отца чѣмъ Богъ послалъ. Погостилъ старикъ, сталъ прощаться.

Тутъ и говоритъ женѣ вѣтеръ:

— Жарко, жена, въ избѣ; пойдемъ на̀ воду сидѣть.

— Что ты?—говоритъ жена:—да вѣдь утонемъ.

— Не утонемъ,—говоритъ вѣтеръ:—бери, знай, шубу!

Взяла жена шубу, пришли они къ рѣкѣ, кинулъ вѣтеръ шубу на̀ воду.

— Прыгай!—говоритъ женѣ.

Прыгнули они оба разомъ на шубу, вѣтеръ подулъ, и поплыла съ ними шуба, что̀ твоя лодка.

Какъ пришелъ старикъ домой, кричитъ женѣ:

— Эй, жена! жарко въ избѣ: пойдемъ нà воду сидѣть.

— Что ты?—говоритъ старуха:—али изъ послѣдняго умишка совсѣмъ выжилъ? Утонуть захотѣлъ!

— Не бойсь!—говоритъ старикъ;—не утонемъ. Бери только шубу съ собой!

Взяла старуха шубу, пошли они и пришли къ рѣкѣ.

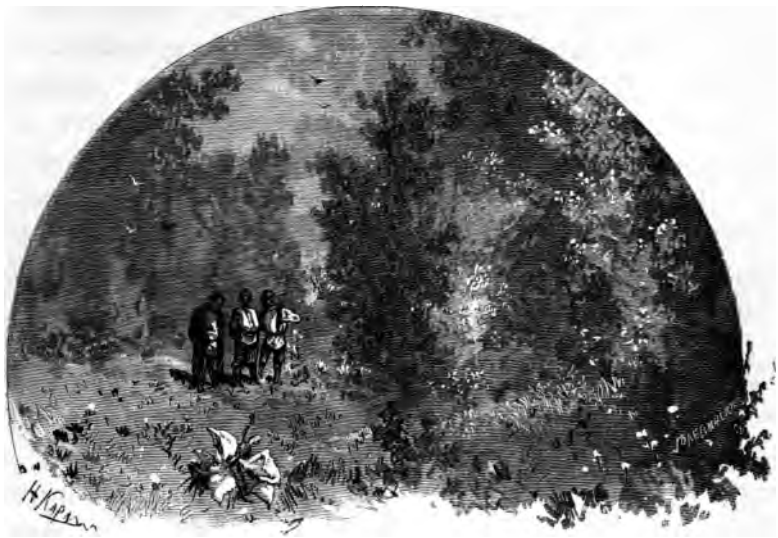
— Кидай,—говоритъ старикъ,—шубу нà воду!

Кинула старуха.

— Ну, давай теперь мнѣ руку,—говоритъ старикъ;—прыгай со мной на шубу. То-то будетъ сидѣть мягко да прохладно.

Прыгнули они оба разомъ, и пошла съ ними шуба ко дну. Только ихъ и видѣли.

М.



Свое и чужое.

У одного крестьянина былъ сосѣдъ. У этого сосѣда былъ богатѣйшій садъ—лѣсъ лѣсомъ, глазомъ не окинешь; яблонь, грушъ, сливъ, вишенъ—видимо не видимо; чѣмъ дольше ростутъ, тѣмъ больше раскидываются, а плодомъ каждый годъ такъ увѣшаны, что сучья подпирай подпорками, а то, смотри, обломятся.

Завистно это стало крестьянину, и онъ захотѣлъ у себя развести садъ богаче сосѣдскаго. И вотъ зоветъ онъ своихъ трехъ сыновей и говоритъ имъ:

— Дѣти мои милые, дѣти мои любезные, дѣти мои несмысленые! Захотѣлось мнѣ насадить садъ, да получше, чѣмъ у сосѣда нашего. Ступайте вы, куда глаза глядятъ, въ дальнія страны заморскія, на моря теплыя,—тамъ, слышно, все идетъ не по нашему, и выходитъ все лучше

нашего: что́ ни посѣй, что́ ни посади, все родится самъ-сотъ. Поучитесь вы у заморскихъ людей, ворочайтесь на родную сторону и насадите садъ получше, чѣмъ у сосѣда нашего, себѣ самимъ на корысть, дѣтушкамъ своимъ на радость, а мнѣ на поминъ души по смерти.

Два брата пошли во страны заморскія, на моря теплыя. Смотрятъ они и дивуются: нѣтъ нигдѣ ни сосенки, ни елочки, ни березки, ни осинику; а куда ни глянь—все сады виноградные; а въ садахъ народъ кишмя кишитъ: землю копаютъ, водой поливаютъ, вѣтки подчищаютъ, кусты къ палочкамъ привязываютъ.

Подошли къ нимъ братья, низко кланяются и говорятъ имъ почтительно, какъ у русскихъ людей обычай есть:

— Мы—дѣти у отца несмысленые, пришли поучиться у васъ уму-разуму заморскому; покажите намъ, какъ сады садить.

Такая рѣчь заморскимъ людямъ—по́ сердцу, очень имъ, значитъ, полюбилася. Берутъ они къ себѣ русскихъ братьевъ въ работники, закабаляютъ ихъ въ работу тяжелую; а ѣсть даютъ все кусочки маленькіе; а вмѣсто щей—какіе-то корешки вареные. Работаютъ братья съ усердіемъ, ко всему присматриваются и научаются сады садить, виноградъ разводить. За работу дали имъ заморскіе люди по виноградному кустику, по двѣ виноградинки, да денегъ по шелегу. И вернулись они домой такіе веселые и радостные.

А третій братъ никуда не ходилъ на чужую сторону; а вышелъ онъ ранымъ-рано на̀ поле, Господу-Богу помолился, съ краснымъ солнышкомъ поздоровался, припалъ къ сырой землѣ, поцѣловалъ ея материнскую грудь и, взглянувъ на небо синее, со слезами сказалъ душевнымъ голосомъ:

— Господи, Боже мой! открой Ты мнѣ разумѣніе, научи Ты меня несмысленаго, куда мнѣ пойдти и поучиться, какъ сады садить, чтобъ родной батюшка не прогнѣвался.

И послышался ему тихій-тихій, такой кроткій, ласковый голосъ:

— Дитя ты неразумное! Зачѣмъ тебѣ ходить изъ родной земли? Учись ты здѣсь у добрыхъ людей уму-разуму, сторонѣ своей пригодному; а совѣтуйся ты съ красною зарею утренней, съ жаркимъ солнышкомъ полуденнымъ, съ вѣтрами тихими и буйными, съ теплыми и холодными ночками, съ росами и туманами, а больше всего— со своимъ разсужденіемъ.

И пошелъ онъ къ сосѣду и научился у него свои русскія дерева̀ садить, по-своему сады разводить, и получилъ отъ него въ гостинецъ молодыхъ корней съ тысячу.

Посадилъ первый братъ виноградный кустъ,—ничего не выросло.

Посадилъ второй братъ виноградный кустъ,—только сухая тычинка осталася.

Насадилъ третій братъ молодыхъ корней,—разросся садъ, какъ Божій рай: весной цвѣтами, какъ снѣгомъ, все обсыпано; а осенью яблоками, какъ золотомъ и кумачемъ, обвѣшено. И сами ѣдятъ, и на ярмарку возятъ, и въ прокъ на всякій случай кладутъ.

М. Чистяковъ.

Озеро-слободка.

Какъ-то по озеру съ удочкой ѣздилъ рыбакъ
въ перелѣскѣ;
Рыба почти не ловилась и сталъ онъ домой собираться.
Вдругъ и поймалась одна, да такая красивая рыбка,
Что ни перомъ описать, ни въ словахъ разсказать не съумѣешь.
Чуть онъ въ ведёрко успѣлъ перебросить вертлявую рыбку,
Тихо предъ нимъ поднялась надъ пучиною рыбка постарше,—
Блѣдная вся, будто кто испугалъ ее, вышла наружу
И человѣческимъ голосомъ вскрикнула такъ надъ водою:
— „Гдѣ ты, дитя мое, гдѣ ты, моя неразумная рыбка?
Стадо пора загонять; погляди, закатилося солнце...

Гдѣ ты, откликнись, дитя! али хищная цапля рѣчная
Въ когти изъ волнъ подхватила тебя, моя рыбка родная?"
Долго сновала по озеру, въ страхѣ и трепетѣ, рыбка;
Долго рыбакъ, опустивши весло, съ челнока дивовался...
Взялъ на-послѣдокъ ведро онъ, привсталъ и откликнулся рыбкѣ:
— „Вотъ твое дитятко, вотъ; ты возьми свою дочку, пожалуй,
Но уговоръ лучше денегъ: повѣдай по истинной правдѣ,
Чтó ты за диво сама и какіе края ваши воды?"
Быстро плеснувшись въ водѣ и уставя пугливые глазки,
Тáкъ началá говорить замирающимъ голосомъ рыбка:
— „Охъ, человѣкъ, много лѣтъ той порѣ, какъ на этой полянѣ,
Вмѣсто воды, камышей и кустовъ, красовалась слободка;
Въ шумной слободкѣ жила на дворѣ на широкомъ молодка,
Много добра и богатства у ней по амбарамъ лежало,
Много далекихъ купцовъ и мірянъ къ ней во дворъ заѣзжало.
Разъ, о полудни, она на крыльцѣ на тесóвомъ сидѣла:
Дочь на рукахъ убаюкавъ, съ крыльца за ворота глядѣла;
Видитъ: идетъ отъ села человѣкъ, утомился бѣдняга—
Низко поклоны кладетъ у воротъ и у оконъ слободки:
Проситъ онъ ковшикъ студёной воды у ребятъ и у старшихъ...
Только не слышатъ ребята, играютъ себѣ по затишьямъ;
Старшіе-жь кто на гумнѣ, кто сь иглой, али съ пряжей усѣлся.
Вотъ, подошелъ онъ ко мнѣ, говоритъ:—„Твоя хижина съ краю,
„Глушь за тобой и поля; я-жь отъ жары изнываю;

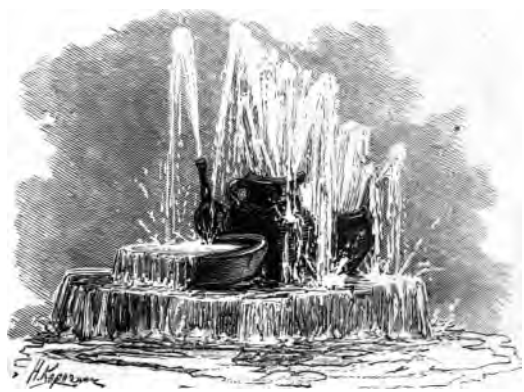
„Встань, захвати гдѣ-нибудь мнѣ хоть каплю водицы студёной!“—
Умъ ли померкъ у меня, и теперь разгадать не умѣю;
Только въ отвѣтъ старику, я промолвила такъ, усмѣхаясь:
—„Какъ, старина, разбудить, какъ покинуть мнѣ малую дочку?.
„Хочешь напиться, такъ вонъ, погляди, и ручей подъ горою;
„Полемъ успѣешь дойти, и авось не умрешь на дорогѣ,—
„Здѣсь же у насъ, въ слободѣ, ты и капли воды не отыщешь!“
Странникъ поникъ головой, и, какъ тѣнь, изъ околицы вышелъ...
Вдругъ, слышу я, въ тишинѣ, по околицѣ звуки несутся;
Точно посыпался градъ, али гдѣ-то западали зерна...
Вижу—и замеръ мой духъ: на столѣ самъ собой, за порогомъ,
Брызнулъ кувшинъ, а за нимъ у дверей изъ печурки плеснуло;
Возлѣ изъ погреба струйка воды, словно дымъ, поднялася;
Миски, лоханки и вёдра всплываютъ, несутся къ воротамъ,
Имъ же на встрѣчу, смотрю, выбѣгаютъ другіе потоки!
Въ ближнихъ дворахъ та-же притча: всплываютъ шесты и заборы...
И не опомнилась я, какъ кругомъ берега́ поднялися;
Зе́лено стало въ глазахъ; колыхаясь, осѣла слободка;
Тамъ же, вверху, какъ туманъ, заходили студёныя волны...
Ты не дивися, рыбакъ, если въ озеро днемъ ты посмотришь:
Темныя кочки на днѣ—это хижины нашей слободки;
Мелкія травки—сады, а ложбинки—пруды да колодцы.
Ранней зарею, пока не шелóхнулись пó лѣсу листья,

стрн. 126.

Съ берега ухо наставь ты къ водѣ, тутъ сейчасъ и услышишь—
Какъ далекó-далекó, подъ тобой, въ потоплéнной слободкѣ,
Вѣтеръ по кровлямъ шумитъ, словно плещутся мелкія струйки,
Куры кудахчутъ, пѣтухъ на гумнѣ заливается звонко...
И раздаются въ водѣ колокольные тихіе звуки,
Будто засохшій тростникъ отъ дуновенія вѣтра
Тихо звенитъ надъ водой, надъ пустыннымъ прибрежьемъ качаясь!"

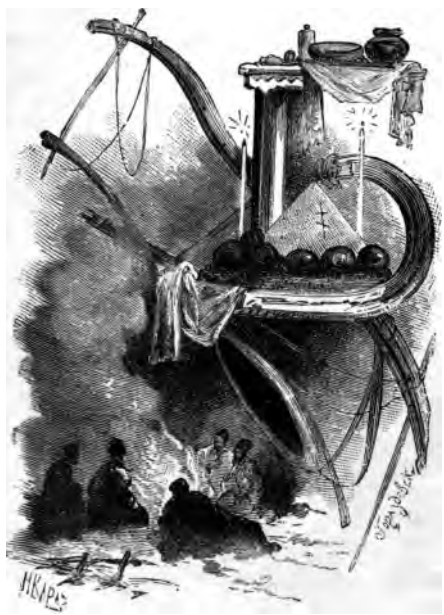
Рыбка замолкла, едва отливаясь на зыби стемнѣвшей...
Въ волны ей бросилъ рыбакъ цѣлыхъ сутокъ добычу обратно;
И, привязавши челнокъ межъ осокой, обратно въ потемкахъ
Вышелъ на берегъ, безлюдный и дикій, съ пустыми руками.

Г. Данилевскій.



Свѣтлое Христово Воскресеніе.

I.



ыло около десяти часовъ ночи, когда прозвучалъ первый ударъ колокола... Въ эту минуту, за пять верстъ въ окружности, въ самыхъ дальнихъ лачужкахъ, все разомъ встрепенулось и сотворило крестное знаменіе... То же самое сдѣлалъ пахарь Андрей — изъ Выселокъ, лежавшій въ какомъ-то забытьи на своей печкѣ. Заслышавъ говоръ сосѣдей, сбиравшихся на улицѣ, онъ сбросилъ овчину, спустился наземь, сѣлъ на лавку и началъ приготовляться въ дорогу.

Угасающій, чуть вздрагивавшій свѣтъ лучины озарялъ тусклымъ блескомъ стѣны и лавки избушки. Кругомъ было мрачно и холодно. Черный земляной полъ, голыя заплеснѣвшія стѣны, подпертыя кое-гдѣ осиновыми плахами, кой-гдѣ вымазанныя глиной, недостатокъ тепла, столь любимаго мужичкомъ, отсутствіе горшечковъ, домашняго обиходнаго хлама и всего того, что свидѣтельствуетъ присутствіе хлопотливой хозяйки или бабушки-радѣльницы, показывали, что Андрей далеко не принадлежалъ къ числу мужиковъ зажиточныхъ.

Андрей поднялся на ноги, провелъ ладонью по лбу и бережно подошелъ къ печкѣ. Мѣрное, легкое дыханіе, раздавшееся съ печи, вызвало улыбку на губахъ его; онъ вернулся къ свѣтцу, взялъ лучину и, заслоня свѣтъ рукою, сталъ потихоньку подыматься по стремечкамъ. Ослѣпительный блескъ лучинки упалъ тогда прямо на дѣвочку лѣтъ четырехъ, свернувшуюся клубкомъ между трубой и перекладиной; подложивъ обѣ ручки подъ щечку, слегка закраснѣвшуюся, пригнувъ худенькія, длинныя ножки къ локтямъ, она казалась миловидною даже подъ лохмотьями. Продолговатое личико, которому бѣлокурые, курчавые и взбитые, какъ пухъ, волосы придавали еще болѣе худобы, было схоже во всемъ съ лицомъ Андрея. Замѣтивъ, что свѣтъ безпокоилъ сонъ ребенка, Андрей поспѣшно отвелъ руку съ лучиной за уголъ, потомъ нагнулся къ лицу дѣвочки и, прикоснувшись слегка къ плечу ея, произнесъ нерѣшительно:

— Проснись, Ласточка... слышь, благовѣстятъ... пора къ заутрени...

Она медленно протянула ножки и вздохнула; вслѣдъ за тѣмъ, не открывая глазъ, перевернулась она на спину, закинула тоненькія свои ручки за голову и снова вздох-

нула. Ему стало жаль будить ее. Спустившись на земь Андрей прикутался потеплѣе въ кожухъ, снялъ съ шестка старый зипунъ, взлѣзъ на печь, завернулъ въ него дѣвочку и, уложивъ ее между своею овчинкою и жердью, сошелъ на полъ. Онъ погасилъ лучину и вышелъ на улицу, плотно заперевъ за собой калитку.

Андрею не много нужно было времени, чтобы оставить за собой деревню: изба его стояла второю отъ околицы. Пройдя по шаткой доскѣ, перекинутой въ видѣ моста черезъ канавку, огибавшую гумна, онъ вскорѣ очутился на проселкѣ, извивавшемся по направленію къ горѣ. Ночь была свѣтлая. Мѣсяцъ еще не зарождался, но взамѣнъ его миріады звѣздъ дрожали въ темно-синемъ, безоблачномъ небѣ. Хотя, по всѣмъ примѣтамъ, ждали теплой весны, морозъ, однакожь, былъ порядочный. Было такъ тихо, что шаги Андрея, ступавшаго по мерзлой дорогѣ, отдавались за цѣлую версту.

II.

По мѣрѣ того, какъ Андрей приближался къ горѣ, шагъ его замѣтно становился медленнѣе; свѣтлое выраженіе на лицѣ его смѣнялось грустью.

Годъ тому назадъ, не болѣе, шелъ онъ къ той же заутренѣ, по той же дорогѣ, и все улыбалось ему. Онъ, правда, былъ точно такъ же бѣденъ: бѣднѣй его тогда не было во всемъ околоткѣ; но что до этого! Андрей и покойная жена его работали дружно день-деньской, наровя ни въ чемъ не упустить: ни въ полѣ, ни въ хозяйствѣ. Онъ доволенъ былъ малымъ: скирда ржицы, возка два сѣна для лошадки, и слава тебѣ Господи! А какъ придетъ съ поля домой, возьметъ на руки трехлѣтнюю

Ласточку, здоровенькую и крѣпенькую, сядетъ съ нею за столъ, супротивъ горячихъ щецъ, которыя приготовитъ бывало хозяйка,—такъ куда! и веселъ нашъ Андрей, не натѣшится!

Кааъ вдругъ, неожиданно, сразило его страшное горе: онъ овдовѣлъ. Безпечный и веселый, онъ совсѣмъ упалъ духомъ; съ потерею жены онъ впервые почувствовалъ всю свою бѣдность. Клонитъ онъ, сердяга, свою голову́, приближаясь вечеркомъ къ лачужкѣ. Уже не слышится ему знакомый шумъ веретена, не летятъ на встрѣчу ласковое слово, или веселая пѣсня, не вьется надъ горшечкомъ трубы сизой струйкой дымъ... нѣтъ! Одинъ сталъ, сирота круглый; и пуще еще клонитъ онъ свою голову, войдя въ пустынное жилище. Какое житье мужику безъ хозяйки!... то же, что одна лучина горитъ въ избѣ—много ли свѣту въ ней?...

Было, правда, въ тѣхъ же Выселкахъ одно доброе существо, которое старалось, и часто не безуспѣшно, отвести душу Андрея. Дарья (такъ звали это существо) была бѣдная дѣвушка, сирота круглая, проживавшая, въ качествѣ батрачки, у одного изъ зажиточныхъ мужиковъ деревушки. Общая почти доля, близкое сосѣдство (избы ихъ отдѣлялись всего-на-все однимъ плетнемъ) какъ-то невольно сблизили ее съ Андреемъ. Оба смирные, работящіе, они легко пришлись по нраву другъ другу. Хотя до сихъ поръ не было между ними близкаго разговора, Андрей зналъ, однакожь, что дѣвушка не прочь была выйдти за него замужъ, и самъ частенько объ этомъ думалъ. Но какъ уладить это дѣло? Онъ ясно видѣлъ всю несбыточность такихъ помысловъ. И въ самомъ дѣлѣ, до свадьбы ли людямъ, которые, какъ говорится, крыты свѣтомъ да обнесены вѣтромъ, когда обоимъ надо было ду-

мать о томъ только, какъ бы прожить день Господень!...

Такъ всегда думалъ Андрей, такъ думалъ онъ и теперь, когда до слуха его нежданно коснулись шаги, звонко раздавшіеся въ тишинѣ ночи. Андрей повернулся назадъ. Немного погодя, изъ-за крутаго поворота, недавно имъ покинутаго, показалось бѣлое пятно, которое замѣтно выростало на темной дорогѣ. Думая, что это—какая-нибудь баба изъ выселокъ, запоздавшая къ заутрени, Андрей рѣшился выждать ее. Баба замѣтила, съ своей стороны, мужика и, обрадованная, вѣроятно, случаю напасть на проводника въ такую позднюю пору, спѣшила къ нему на встрѣчу.

III.

Андрей не мало удивился, когда женщина поравнялась съ нимъ, и онъ узналъ въ ней Дарью. Дѣвушка, съ своей стороны, казалось, также была не менѣе удивлена неожиданной встрѣчей.

— Вотъ не чаялъ, не гадалъ!—воскликнулъ Андрей, невольно обнаруживая радость въ голосѣ и движеніи, съ какимъ поспѣшилъ онъ приподнять шапку:—гляжу... кто бы, думаю, такая?... а это ты... Ну, здорово, здорово...

— Здравствуй, Андрей!—весело отвѣчала дѣвушка.

— Что такъ поздно собралась?

— И сама не рада, да что станешь дѣлать! раньше нельзя никакъ. Хозяева велѣли нести въ церковь куличъ, пасху и яйца, велѣли да ушли... Я дожидалась, пока куличъ испечется... послѣ обѣда только поставили.

— Ну, ладно, пойдемъ вмѣстѣ... все веселѣе будетъ!

— Пойдемъ!...

— Что ты несешь?—спросила послѣ минутнаго молчанія Дарья, кивнувъ головою на грудь своего спутника, приподнятую спавшимъ подлѣ нея ребенкомъ.

Андрей взглянулъ на дѣвушку и засмѣялся.

— Что ты смѣешься?..

— Угадай!—произнесъ онъ, прикоснувшись слегка къ полушубку.

Дѣвушка остановилась, сдѣлала шагъ къ мужику и съ любопытствомъ пригнулась къ полушубку; въ эту минуту ребенокъ проснулся, открылъ глаза, протянулъ ножки и, взглянувъ въ лицо Дарьи, молча обвилъ ея шею рученками.

— А! такъ вотъ это кто...—сказала Дарья, разглаживая одной рукой волосы дѣвочки, тогда какъ другая рука ея старалась, но тщетно, отвести руки ребенка:—ну, полно, Ласточка, пусти меня... Послушай, Андрей,—прибавила она, очутившись на свободѣ:—дай мнѣ, я понесу ее...

Ребенокъ потянулся къ дѣвушкѣ и сказалъ, что хочетъ къ ней на руки.

— А развѣ тебѣ тетушку Дарью не жаль?—сказалъ отецъ убѣдительно:—вишь, мы теперь въ какую гору идемъ; и безъ тебя ей тяжело, съ тобою—и совсѣмъ умается... Пойдемъ подъ гору—ступай къ ней, слова тогда не скажу.

Ласточка свернулась по прежнему клубочкомъ подъ кожухомъ, но такъ, однакожь, чтобы можно было глядѣть на дорогу.

— А гдѣ же твоя пасха?—спросила Дарья, оглядывая Андрея.

— Гдѣ моя пасха!...—возразилъ, вздохнувъ, пахарь.

— Что жъ, развѣ нѣтъ у тебя? .. Экой ты какой! да ты бы къ намъ понавѣдался, попросилъ бы мою хо-

зяйку... Она не стала бы перечить. У насъ много творогу осталось.

— Нѣтъ, Дарья, тошно ходить по людямъ; я и такъ, кажись, всѣмъ прискучилъ своею бѣдностію: ныньче попросишь, а напослѣдяхъ и языкъ не повернется....—Вотъ, повѣришь ли, до чего дошелъ,—продолжалъ Андрей,—до того дошелъ, что ныньче не было чѣмъ печь истопить; хворостина вся вышла, солома также, а купить не на что... Да чего! гроша нѣтъ на свѣчку; какъ вернусь домой съ заутрени, нечего будетъ поставить передъ образомъ...

Рука Дарьи быстро опустилась за пазуху и секунду спустя вынула клинушекъ холста, плотно связанный узломъ; она торопливо развязала зубами узелокъ, въ которомъ оказались два гроша, и, подавая одинъ изъ нихъ Андрею, сказала:

— Возьми... у меня два...

— Зачѣмъ?...—пробормоталъ Андрей, останавливаясь въ недоумѣніи.

— Пригодится на свѣчку,—отвѣчала Дарья, положивъ грошъ въ руку Андрея и принимаясь поправлять узелокъ на плечахъ.

Андрей хотѣлъ что-то сказать, взглянулъ на сиротку, замялся, махнулъ рукою и, сжавъ грошъ въ ладони, продолжалъ подыматься.

IV.

Вскорѣ достигли они села, обогнули его задами, чтобы избавиться отъ собакъ, и очутились на тонкомъ, хворостинномъ мосту. Прямо вилась дорога на бугоръ съ возвышавшеюся на немъ церковью, мрачною и старинною;

ее окружали со всѣхъ сторонъ крытые навѣсы и выступы, изъ-подъ которыхъ ярко свѣтились окна. Оба поднялись на паперть, а оттуда проникли въ церковь.

Церковь раздѣлялась пополамъ на два придѣла, и вторая половина, въ которой совершалось богослуженіе, залитая ослѣпительнымъ блескомъ свѣчей и паникадилъ, рѣзко отдѣлялась отъ первой, остававшейся въ полумракѣ. Народу собралось такое множество, что нечего было и думать пробраться ко второму придѣлу. Отдѣленный толпою отъ Дарьи, Андрей кой-какъ протискался, однакожь, между рядами прихожанъ, купить, на грошъ, тоненькую, желтую свѣчку, и достигнулъ угла, откуда можно было видѣть часть алтаря и своды, увѣшанные иконами. Немало стоило также трудовъ Андрею, чтобы угомонить Ласточку; обвивъ ручонками шею отца и устремивъ глаза на ярко блиставшую часть церкви, она не переставала засыпать его вопросами. „Это что?... это что?...“ спрашивала она поминутно, ласково поворачивая за подбородокъ голову отца. Мало-по-малу, однакожь, головка дѣвочки опустилась на отцовское плечо, и сладкій сонъ оковалъ ея члены. Андрей бережно опустилъ дочку на полъ, прислонилъ ее къ углу, зажегъ свѣчку, перекрестился и сталъ вслушиваться въ чтеніе Евангелія.

Усердно молился бѣдный пахарь. Онъ молилъ Бога укрѣпить его духомъ, чтобы вынести терпѣливо и безропотно бѣдность и горе, его постигшее, молилъ Его ниспослать ему утѣшеніе и радость въ родномъ дѣтище.

Внезапно радостное, торжественное пѣніе послышалось съ клироса; свѣчи въ рукахъ прихожанъ угасли какъ-будто однимъ дуновеніемъ, и дымъ отъ нихъ, смѣшиваясь съ дымомъ ладона, потянулся легкимъ, фіолетовымъ облакомъ въ темную даль свода. Народъ задвигался

и заволновался. Веселье проглядывало на всѣхъ лицахъ; торжественное пѣніе, смѣшиваясь съ радостными восклицаніями: „Христосъ воскресъ!“ раздалось во всѣхъ концахъ и огласило всю церковь. Всѣ цѣловались и обнимали другъ друга. Немало поцѣлуевъ пришлось также на долю Андрея. Едва-едва поспѣвалъ онъ отвѣчать тѣмъ же. Всѣ почему-то тѣснились вокругъ него. Зная его бѣдность, каждый почти навязывалъ ему кусокъ кулича, пасхи, или красное яйцо. Было теперь чѣмъ разговѣться бѣдняку!...

Андрей провелъ ладонью по глазамъ своимъ, поднялъ на руки дочку, перекрестилъ ее, вышелъ изъ церкви и вскорѣ очутился на дорогѣ. Вездѣ попадались веселыя лица сосѣдей, возвращавшихся цѣлыми семьями по домамъ, отвсюду раздавались радостныя, привѣтливыя восклицанія брата брату, мужа женѣ, отца или дѣда къ дочери или сыну... Спускаясь съ горы къ Выселкамъ, Андрей увидѣлъ ряды огоньковъ, блиставшихъ въ избушкахъ; онъ обратилъ глаза къ околицѣ: одна его лучужка глядѣла темнымъ пятномъ...

V.

Когда онъ пришелъ домой, внутренность избушки показалась ему еще непривѣтливѣе ея наружности. Мрачно и холодно! Андрей снялъ съ себя кожухъ, закуталъ въ него спавшую Ласточку и уложилъ ее на лавочку. Уставивъ столъ обломками кулича и пасхи, полученными въ церкви, онъ нащупалъ кончикъ желтой восковой свѣчки, тщательно сбереженой имъ послѣ заутрени, и, подавивъ вздохъ, подошелъ къ печкѣ. Онъ отдвинулъ заслонку и

стрн. 136.

принялся шарить въ загнеткѣ *). Тутъ только вспомнилъ Андрей, что печь его не топилась нѣсколько дней, и что нечѣмъ было ему засвѣтить свѣчки передъ образомъ. Тоска одолѣла имъ. Нѣсколько минутъ стоялъ онъ въ какой-то тяжелой нерѣшимости и наконецъ покинулъ избу.

Улица, исполосованная свѣтомъ, выходившимъ изъ оконъ, ярко выступала изъ мрака; говоръ и восклицанія, раздававшіеся внутри избушекъ, придавали Выселкамъ что-то праздничное. Очутившись на улицѣ, Андрей направился прямо къ сосѣдней избѣ. Онъ приблизился къ заваленкѣ и постучался въ окно.

— Кто тамъ? — отозвался хриплый, разбитый голосъ.

— Я... Андрей...

— Чего тебѣ?

— Ссуди огонькомъ, тетушка Анна: нечѣмъ лучины вздуть...

Окно поднялось; изъ него выглянуло сморщенное лицо старушонки.

— Вишь, нашелъ время огня просить! нешто не вѣдаешь, нонѣ день какой?... Самъ, небось, не топилъ печки, да на сторону ходишь!...

— Чтó жь, тетушка Анна, не убудетъ у тебя; полно! — произнесъ Андрей, качнувъ головой.

— То-то не убудетъ, не убудетъ! — подхватила старушка полушутливо, полуворчливо; — а ты, касатикъ, поди къ сосѣдямъ, чтó они тебѣ скажутъ... Словно, право, новый ты человѣкъ, не знаешь...

— Ну, Господь съ тобой, коли такъ! — отвѣчалъ

*) Такъ называютъ лѣвый уголъ въ печкѣ, куда обыкновенно загребаютъ жаръ.

Андрей, повернулся и пошелъ на противоположный конецъ улицы—стучаться въ другое окно.

Но изъ этого окна вышелъ тотъ же отвѣтъ. Онъ постучался въ третье, въ четвертое—никто не рѣшался исполнить его просьбу, каждый отсылалъ его къ сосѣду.*)

Понуривъ голову, съ стѣсненнымъ сердцемъ, возвращался Андрей домой; онъ уже подходилъ къ воротамъ, когда, поднявъ голову, остановился и невольно устремилъ глаза за околицу.

Тамъ, далеко-далеко, въ темной, пустынной равнинѣ, дрожалъ огонекъ.

„Должно быть, чумаки какіе, либо обозники собрались на ночевье,“ подумалъ Андрей. — „А что, пойду-ка я къ нимъ: авось не отгонятъ!“ присовокупилъ онъ, направляясь къ свѣтящейся точкѣ, которая между тѣмъ разгаралась и увеличивалась.

Андрей ускорилъ шагъ и вскорѣ очутился подлѣ огня.

Десятка два подводъ, съ пригнутыми кверху оглоблями, обступали серпомъ костеръ изъ древесныхъ сучьевъ, надъ которымъ висѣлъ котелъ. Подлѣ подводъ и немного поодаль лежали волы, казавшіеся огромными мѣловыми глыбами посреди глубокой тѣни, наброшенной на нихъ подводами и спинами чумаковъ, заслонившихъ пламя. Чумаки сидѣли рядышкомъ и, поджавъ подъ себя ноги, тѣсно окружали костеръ. Смуглые, усастые, покрытые загаромъ и дегтемъ, они не трогали ни однимъ членомъ, не произносили ни одного слова, и только движеніе пламени, бросая попеременно свѣтъ, или черныя тѣни, оживляло ихъ лица съ мрачно нависнувшими бровями. По-

*) Въ большіе праздники и особенно наканунѣ Свѣтлаго Христова Воскресенья рѣдкій поселянинъ рѣшится дать сосѣду огня, изъ опасенія, чтобы требуемое взаемъ не вывелось изъ дому.

груженные въ молчаливое раздумье, они, казалось, не замѣчали посторонняго лица.

— Здравствуйте, братцы? — произнесъ Андрей, подходя ближе.

— Здравствуй и ты! отозвались въ одинъ голосъ сидѣвшіе.

— Хлѣбъ да соль, братцы! — Христосъ воскресъ! — присовокупилъ Андрей, нагибаясь къ первому, сѣдому какъ лунь, старику съ бѣлыми какъ снѣгъ усами.

Старикъ медленно приподнялся съ своего мѣста, сотворилъ крестное знаменіе, произнесъ:—„Воистину воскресъ!“, провелъ ладонью по усамъ и поцѣловался съ Андреемъ. Такимъ образомъ Андрей обошелъ весь кружокъ и, перецѣловавшись съ каждымъ, вернулся снова къ старику, который сидѣлъ уже передъ огнемъ.

— А я, братцы, вотъ за чѣмъ,—началъ онъ, оглядывая присутствующихъ, которые по прежнему стали недвижны:— я вотъ за чѣмъ; не ссудите ли вы меня огонькомъ?...

— Изволь!—отрывисто сказалъ старикъ.

Вслѣдъ за тѣмъ онъ засучилъ по локоть прорванные рукава рубахи, запустилъ жилистыя, обнаженныя руки въ самую середину костра, который яростно трещалъ, метая золотыя искры въ темно-синее небо, и, набравъ полныя пригоршни пылающаго угля, подалъ ихъ Андрею, примолвилъ:

— Держи полу!

„Что-жь,“ подумалъ Андрей:—„коли Христовъ человѣкъ своими руками, творившими крестное знаменіе, жаръ загребаетъ и не обжигается, бояться, знать, нечего: и моя грѣшная пола не прожжется!...“

Онъ подставилъ полу подъ руки старика; старикъ высыпалъ въ нее пылающій уголь и снова повернулся къ костру.

— Спасибо вамъ, братцы, за добро ваше! — сказалъ Андрей, кланяясь.

— Съ Богомъ!—отвѣчалъ старикъ.

— Съ Богомъ! — повторили въ одинъ голосъ остальные чумаки.

Андрей поклонился еще разъ и бѣгомъ, безъ оглядки, пустился домой.

VI.

Войдя въ избу, Андрей высыпалъ уголь подлѣ заслонки, и, убѣдившись хорошенько, что пола его была цѣла, вздулъ лучину. Минуту спустя, кончикъ желтой восковой свѣчи затеплился, въ красномъ углу передъ иконой, и, смѣшавшись съ свѣтомъ лучинки, озарилъ избушку яркимъ блескомъ. Все вокругъ какъ-бы улыбнулось и повеселѣло. Даже у самого Андрея отлегло отъ сердца. Вѣрный святому обряду, онъ разбудилъ Ласточку, усадилъ ее на лавку противъ обломковъ кулича и пасхи, перекрестилъ ребенка, самъ перекрестился, и оба принялись разговляться. Трапеза приближалась уже къ концу, когда кто-то неожиданно постучался въ дверь.

— Кто тамъ?—спросилъ Андрей.

— Я, я, касатикъ!—отвѣчалъ разбитый голосъ.

Дверь скрыпнула, и въ избу вошла сгорбленная, сморщенная старушонка.

— Это ты, тетушка Анна!... добро пожаловать!... Ну, тетушка: „Христосъ воскресъ!“—весело произнесъ Андрей, подходя къ сосѣдкѣ и принимаясь обнимать ее.

— „Воистину воскресъ!“, касатикъ... воистину... Охъ, родной ты мой!... а я чаяла, ты серчать на меня станешь...

— Съ чего жь серчать: всякъ властенъ въ добрѣ

своемъ, тетушка Анна; ты пожалѣла ссудить огонькомъ— ссудили другіе... Видитъ Богъ, я на тебя не серчаю... Скажи, зачѣмъ пришла?

— Касатикъ!—начала старушка, скрестивъ руки на груди и наклонивъ на бокъ голову.—Касатикъ,—продолжала она заискивающимъ голосомъ:—одолжи кочергу, родной: ребятенки затащили нашу ни вѣсть куда; бились, бились,—не найдемъ; хлѣбы поспѣли, а вынуть нечѣмъ...

— Только-то!... э!... есть объ чемъ разговаривать!... бери...

— Охъ, касатикъ ты мой! да гдѣ-жь она у тебя?

— А вонъ тамъ, у печки.

Старушка подошла къ печкѣ и начала шарить. Вдругъ она всплеснула руками, нагнулась къ заслонкѣ, вскрикнула, опять всплеснула руками и заметалась какъ угорѣлая.

— Батюшки! касатики вы мои!... Охъ, Андрей! подь сюда: погляди-ка, чтó это у тебя!... Охъ, родные вы мои!... ахъ!... ахти, Господи!...

— Чтó ты, тетушка?... что съ тобой? — произнесъ Андрей, подбѣгая къ сосѣдкѣ.

— Погляди-кась, — продолжала она, указывая на то мѣсто, куда Андрей высыпалъ уголь.

— Ну, что жь? уголь!... Что ты?

— Какой уголь!... Ахъ ты, простой сынъ!... погляди-ка, погляди... деньги! Батюшки касатушки... ворохъ... цѣлый ворохъ денегъ!

Андрей подошелъ ближе и остановился какъ вкопанный. На мѣстѣ золы и угля сверкали двѣ добрыя пригоршни золота!

— Я, тетушка, не знаю...—пробормоталъ пахарь, крестясь и отступая:—видитъ Богъ, не знаю...

— Какъ не знаешь?... да отколь же у тебя? слышь

ты... охъ!—воскликнула старушка, снова всплеснувъ руками.

— Видитъ Богъ, не знаю, тетушка Анна!... пошелъ я за огнемъ... чумаки стоятъ у насъ въ полѣ... они мнѣ насыпали... двѣ пригоршни насыпали...

— Чумаки! батюшки! двѣ пригоршни!... ахти, Господи!... касатики вы мои! — воскликнула старушка и, не договоривъ остальнаго, бросила кочергу и кинулась со всѣхъ ногъ изъ избы.

Всѣ мысли заходили кругомъ въ головѣ Андрея; нѣсколько минутъ стоялъ онъ какъ прикованный къ полу; наконецъ подошелъ къ печкѣ, перекрестился и притронулся къ блистающей горкѣ, которая зазвенѣла подъ руками его: точно, передъ нимъ лежали цѣлыхъ двѣ пригоршни золотыхъ червонцевъ, одинъ другаго краше и лучше. Холодный потъ выступилъ на блѣдномъ лицѣ пахаря; крики и шумъ, раздававшіеся на улицѣ, заставили его, однакожь, скоро опомниться; полный неопредѣленнаго страха, онъ плотно заперъ за собой дверь и выбѣжалъ за ворота.

На улицѣ происходила какая-то суматоха и сутолока; всѣ бѣгали изъ конца въ конецъ какъ шальные; всѣ кричали и суетились. Посреди всеобщаго гама раздавались пронзительныя восклицанія Анны:—„Батюшки, свѣтики мои! Чумаки въ полѣ у насъ! охъ!... чумаки деньгами обдѣляютъ... Андрею... сама видѣла... двѣ пригоршни насыпали!...“—Только и слышно было:—„Гдѣ? какіе чумаки? ой-ли? пойдемъ туда!... скорѣй!... тащи рѣшето! тащи ведро!... бери горнушку!... скорѣй, вонъ они!... туда! туда!...“

Андрей провелъ ладонью по головѣ, потомъ протеръ глаза и взглянулъ за околицу. Посреди темной равнины все еще пылалъ костеръ.

— Что такое, Андрей? что они?—произнесъ тихій голосъ за спиною пахаря.

Андрей обернулся. Передъ нимъ стояла Дарья.

— Куда это бѣжитъ народъ?—продолжала сиротка:—что съ ними?... слышь, слышь... твое имя поминаютъ... вонъ... ну, всѣ ударили за околицу!...

— Чумаки!—могъ только проговорить Андрей, указывая дрожащею рукою на костеръ, пылавшій въ отдаленіи:—я пошелъ къ нимъ, за огнемъ... они насыпали мнѣ двѣ пригоршни угля, пришелъ домой, смотрю: деньги!..

— Что ты, какія деньги?

— Деньги... всѣ на подборъ золотыя... Ступай, погляди сама, коли не вѣришь...

Сиротка оглянулась на стороны и, сопровождаемая Андреемъ, вошла въ избу.

— И взаправду!... вотъ диковинка, сколько ихъ!—воскликнула дѣвушка:—а гдѣ же Ласточка?... Ласточка, Ласточка! подь сюда скорѣй,—продолжала она, поднявъ на руки ребенка и подходя съ нимъ къ печкѣ:—погляди-ка, погляди, что у тятьки!... Батюшки, и не пересчитаешь!... Плакался ты, Андрей, на свою бѣдность: вотъ Богъ и послалъ тебѣ... теперь ты богатъ!... Богаче тебя у насъ въ Выселкахъ не будетъ!—прибавила она, устремляя блиставшіе отъ радости глаза на лицо пахаря.

Сердце сильно застучало въ груди Андрея; онъ взглянулъ на золото, потомъ на дѣвушку, отступилъ шагъ и произнесъ не совсѣмъ увѣреннымъ голосомъ:

— А пойдешь за меня замужъ, Дарья?...

— Пойду!...—отвѣчала она, опустивъ голову и принимаясь перебирать съ необыкновенною поспѣшностію окраину передника.

. . . . . .

Народъ изъ Выселокъ успѣлъ между тѣмъ давно очутиться подлѣ костра.

— Батюшки, родные вы наши, касатики, ненаглядные!—кричали на перерывъ двадцать человѣкъ, тискаясь другъ на дружку и обступая чумаковъ, которые сидѣли по прежнему, такъ же недвижно:—не оставьте насъ: ссудите огонькомъ, родные вы наши!...

— Изволь!—произнесъ наконецъ старшій изъ чумаковъ, тотъ самый, къ которому обращался Андрей.

— Батюшки, касатики, родные!—закричали въ одинъ голосъ Выселовцы, громоздясь какъ угорѣлые другъ на дружку и подставляя кто руки, кто рѣшето, кто вёдра.

Старикъ засучилъ рукава и, не поворачивая головы къ обступившему его народу, прибавилъ:

— Много васъ... не хватитъ помногу, мы думали, одинъ...

— Золотой ты мой, хоть пригоршенку!—закричала Анна, просовывая отчаянно между руками и головами сосѣдей подолъ новой понявы.

— Хошь уголечекъ, касатикъ!—крикнула другая, подставляя рѣшето.

— Сюда, сюда, дѣдушка!...

— Охъ, мнѣ не досталось! пропустите!... ой, касатики, пропустите!...

— Держи полу!—сказалъ старый чумакъ, запуская руки въ костеръ и выгребая остатокъ горячаго угля въ подставленные зипуны, подолы и шапки.

Такимъ образомъ всѣ были надѣлены.

— Съ Богомъ!—произнесъ отрывисто старый чумакъ, насупивая брови и поворачиваясь къ костру.

— Съ Богомъ!—примолвили другіе чумаки.

Но Выселовцы ничего уже не слышали. Они стрем-

главъ бѣжали къ околицѣ, поддерживая руками полы зипуновъ и кармановъ. Очутившись на улицѣ, Выселовцы поубавили шагъ.

— Ой, батюшки! — воскликнула неожиданно тетка Анна, останавливаясь посреди тѣснившихся вокругъ нея сосѣдей.

— Охъ, касатики!—внезапно послышалось съ другой стороны бѣжавшей толпы.

— Что тамъ?

— Ухъ!—пронзительно взвизгнулъ кто-то въ другомъ концѣ.

— Обманули, разбойники!—заголосила вдругъ Анна, выпуская полу, изъ которой валилъ чадъ и сыпался уголь.

— Батюшки, горю!—крикнула другая баба.

— Тушите, тушите! понява горитъ!... ой, зипунъ! новый зипунъ! обманули!... туши! туши! ахъ!—заголосили въ одинъ голосъ на улицѣ Выселокъ.

И всѣ, сколько ни было народу, опустили подолы, побросали шапки и запрыгали другъ подлѣ друга.

Какъ только прошелъ первый страхъ, всѣ оглянулись къ околицѣ. Но костра уже не было. Вдалекѣ лишь, посреди темной равнины, слышался скрипъ телѣгъ и мѣрный топотъ воловъ, который постепенно умолкалъ и терялся...

— Держи ихъ!—крикнулъ кто-то изъ толпы.

Но никто не послушался этого крика. Ощупывая полы прожженной одежды и повѣсивъ головы, Выселовцы печально расходились по домамъ.

Можно смѣло утверждать, что одинъ Андрей былъ счастливъ и веселъ въ этотъ вечеръ. Онъ не сомкнулъ глазъ во всю ночь: никогда не встрѣчалъ онъ такъ радостно Свѣтлаго праздника! Едва блеснулъ день, Андрей не выдержалъ и вышелъ за ворота. Утро было чистое и

ясное. Народъ сбирался на улицѣ. Длинная плетеница парней и дѣвушекъ, впереди которыхъ шла Дарья, выходила за околицу (выкликать весну). Звонкая пѣсня огласила окрестность:

„Весна, весна, красная!
Приди, весна, съ радостью!
Весна, красна,
На чемъ пріѣхала?
На сошечкѣ,
На бороночкѣ!...“

И никогда еще ни одна пѣсня не отзывалась такъ радостно въ кроткой душѣ Андрея!

Д. Григоровичъ.

Мальчикъ у Христа на елкѣ.

Видали вы на улицѣ мальчиковъ „съ ручкой“, какъ они сами себя называютъ, т. е. просящихъ милостыню? О рождествѣ, въ страшный морозъ они одѣты почти полѣтнему, только шея обвязана какимъ-то старьёмъ. И вертятся они на вашей дорогѣ, и завываютъ что-то заученое... и потому-то именно, что это заученое, да пожалуй и потому, что вамъ мѣшаютъ идти, когда вамъ холодно и вы торо́питесь попасть въ тепло,—вамъ не столько жалко ихъ, сколько досадно на нихъ. А вѣдь ихъ, право, очень жалко...

Я хотѣлъ бы вамъ разсказать теперь про такого мальчика, т. е. вѣрнѣе, не про такого, котораго уже высылаютъ „съ ручкой“ (потому что онъ еще очень маленькій, лѣтъ шести или даже меньше), но такого, однако, котораго черезъ годъ, черезъ два непремѣнно выслали бы. Этотъ мальчикъ проснулся утромъ въ сыромъ и холодномъ подвалѣ. Одѣтъ онъ былъ въ какой-то халатикъ и дро-

жалъ. Дыханіе его вылетало бѣлымъ паромъ, и онъ, сидя въ углу на сундукѣ, отъ скуки нарочно пускалъ этотъ паръ изо рта и забавлялся, смотря, какъ онъ вылетаетъ. Но ему очень хотѣлось кушать. Онъ нѣсколько разъ съ утра подходилъ къ нарамъ, гдѣ на тонкой, какъ блинъ, подстилкѣ и на какомъ-то узлѣ подъ головой вмѣсто подушки, лежала больная мать его. Какъ она здѣсь очутилась?—должно быть, пріѣхала съ своимъ мальчикомъ изъ чужаго города и вдругъ захворала. Дѣло нынче праздничное, и всѣ подвальные жильцы разбрелись; только въ дальнемъ углу стонетъ отъ ревматизма какая-то восьмидесятилѣтняя старушонка, жившая когда-то и гдѣ-то въ нянькахъ, а теперь помирающая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, такъ что онъ уже сталъ бояться подходить къ ея углу близко. Напиться-то онъ гдѣ-то досталъ въ сѣняхъ, но корочки нигдѣ не нашелъ и разъ въ десятый уже подходилъ разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконецъ, въ темнотѣ: давно уже начался вечеръ, а огня не зажигали. Ощупавъ лицо мамы, онъ подивился, что она совсѣмъ не двигается и стала такая-же холодная, какъ стѣна. „Очень ужь здѣсь холодно", подумалъ онъ, постоялъ немного, безсознательно забывъ свою руку на плечѣ покойницы, потомъ дохнулъ на свои пальчики, чтобъ отогрѣть ихъ, и вдругъ, нашаривъ на нарахъ свое картузишко, потихоньку, ощупью, пошелъ изъ подвала. Онъ еще бы и раньше пошелъ, да все боялся вверху, на лѣстницѣ, большой собаки, которая выла весь день у сосѣдскихъ дверей. Но собаки уже не было, и онъ вдругъ вышелъ на улицу.

Господи, какой городъ! Никогда еще онъ не видалъ ничего такого. Тамъ, откудова онъ пріѣхалъ, по ночамъ, такой черный мракъ, одинъ фонарь на всю улицу. Де-

стрн. 149.

ревянные низенькіе домишки запираются ставнями; на улицѣ, чуть смеркнется—никого, всѣ затворяются по домамъ, и только завываютъ цѣлыя стаи собакъ, сотни и тысячи ихъ воютъ и лаютъ всю ночь. Но тамъ было зато такъ тепло и ему давали кушать, а здѣсь—Господи, кабы покушать! И какой здѣсь стукъ и громъ, какой свѣтъ и люди, лошади и кареты, и морозъ! Мерзлый паръ валитъ отъ загнанныхъ лошадей, изъ жарко-дышащихъ мордъ ихъ; сквозь рыхлый снѣгъ звенятъ объ камни подковы, и всѣ такъ толкаются, и Господи, такъ хочется поѣсть, хоть бы кусочекъ какой-нибудь, и такъ больно стало вдругъ пальчикамъ.

Вотъ и опять улица,—охъ, какая широкая! Вотъ здѣсь такъ раздавятъ навѣрно; какъ они всѣ кричатъ, бѣгутъ и ѣдутъ, а свѣту-то, свѣту-то! А это что? Ухъ, какое большое стекло, а за стекломъ комната, а въ комнатѣ дерево до потолка; это елка, а на елкѣ сколько огней, сколько золотыхъ бумажекъ и яблоковъ, а кругомъ тутъ-же куколки, маленькія лошадки; а по комнатѣ бѣгаютъ дѣти, нарядныя, чистенькія, смѣются и играютъ, и ѣдятъ и пьютъ что-то. Вотъ эта дѣвочка начала съ мальчикомъ танцовать, какая хорошенькая дѣвочка! Вотъ и музыка, сквозь стекло слышно. Глядитъ мальчикъ, дивится, ужь и смѣется, а у него болятъ уже пальчики и на ножкахъ, а на рукахъ стали совсѣмъ красные, ужь не сгибаются и больно пошевелить. И вдругъ вспомнилъ мальчикъ про то, что у него такъ болятъ пальчики, заплакалъ и побѣжалъ дальше; и вотъ опять видитъ онъ сквозь другое стекло комнату, опять тамъ деревья, но на столахъ пироги, всякіе—миндальные, красные, желтые, и сидятъ тамъ четыре богатыя барыни, а кто придетъ, онѣ тому даютъ пироги, а отворяется дверь поминутно, вхо-

дитъ къ нимъ съ улицы много господъ. Подкрался мальчикъ, отворилъ вдругъ дверь и вошелъ. Ухъ, какъ на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорѣе и сунула ему въ руку копѣечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Какъ онъ испугался! А копѣечка тутъ-же выкатилась и зазвенѣла по ступенькамъ: не могъ онъ согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбѣжалъ мальчикъ и пошелъ поскорѣй-поскорѣй, а куда, самъ не знаетъ. Хочется ему опять заплакать, да ужь боится, и бѣжитъ-бѣжитъ и на ручки дуетъ. И тоска беретъ его потому, что стало ему вдругъ такъ одиноко и жутко, и вдругъ, Господи! Да что-жь это опять такое? Стоятъ люди толпой и дивятся: на окнѣ за стекломъ три куклы, маленькія, разодѣтыя въ красныя и зеленыя платьица и совсѣмъ—совсѣмъ какъ живыя! Какой-то старичокъ сидитъ и будто-бы играетъ на большой скрипкѣ, два другихъ стоятъ тутъ-же и играютъ на маленькихъ скрипочкахъ, и въ тактъ качаютъ головками, и другъ на друга смотрятъ, и губы у нихъ шевелятся, говорятъ, совсѣмъ говорятъ,—только вотъ изъ-за стекла не слышно. И подумалъ сперва мальчикъ, что онѣ живыя, а какъ догадался совсѣмъ, что это куколки—вдругъ разсмѣялся. Никогда онъ не видалъ такихъ куколокъ и не зналъ, что такія есть! И плакать-то ему хочется, но такъ смѣшно—смѣшно на куколокъ. Вдругъ ему почудилось, что сзади его кто-то схватилъ за халатикъ: большой злой мальчикъ стоялъ подлѣ и вдругъ треснулъ его по головѣ, сорвалъ картузъ, а самъ снизу поддалъ ему ножкой. Покатился мальчикъ на земь, тутъ закричали, обомлѣлъ онъ, вскочилъ и бѣжать-бѣжать, и вдругъ забѣжалъ самъ не знаетъ куда, въ подворотню, на чужой дворъ,—и присѣлъ за дровами: „тутъ не сыщутъ, да и темно.“

Присѣлъ онъ и скорчился, а самъ отдышаться не можетъ отъ страху и вдругъ, совсѣмъ вдругъ, стало такъ ему хорошо: ручки и ножки вдругъ перестали болѣть и стало такъ тепло, такъ тепло, какъ на печкѣ; вотъ онъ весь вздрогнулъ: ахъ, да вѣдь онъ было заснулъ! Какъ хорошо тутъ заснуть! „Посижу здѣсь и пойду опять посмотрѣть на куколокъ,“ подумалъ мальчикъ и усмѣхнулся, вспомнивъ про нихъ: „совсѣмъ какъ живыя!...“ И вдругъ ему послышалось, что надъ нимъ запѣла его мама пѣсенку. „Мама, я сплю, ахъ, какъ тутъ спать хорошо!“

— Пойдемъ ко мнѣ на елку, мальчикъ,—прошепталъ надъ нимъ вдругъ тихій голосъ.

Онъ подумалъ было, что это все его мама, но нѣтъ, не она; кто же это его позвалъ? онъ не видитъ, но кто-то нагнулся надъ нимъ и обнялъ его въ темнотѣ, а онъ протянулъ ему руку и... вдругъ,—о какой свѣтъ! О, какая елка! Да и не елка это, онъ и не видалъ еще такихъ деревьевъ! Гдѣ это онъ теперь: все блеститъ, все сіяетъ и кругомъ все куколки,—но нѣтъ, это все мальчики и дѣвочки, только такіе свѣтлые, всѣ они кружатся около него, летаютъ, всѣ они цѣлуютъ его, берутъ его, несутъ съ собою, да и самъ онъ летитъ, и видитъ онъ: смотритъ его мама и смѣется на него радостно.

— Мама! мама! Ахъ, какъ хорошо тутъ, мама!—кричитъ ей мальчикъ, и опять цѣлуется съ дѣтьми, и хочется ему разсказать имъ поскорѣе про тѣхъ куколокъ за стекломъ. „Кто вы мальчики? Кто вы дѣвочки?“ спрашиваетъ онъ, смѣясь и любя ихъ.

— Это „Христова елка“,—отвѣчаютъ они ему.—У Христа всегда въ этотъ день елка для маленькихъ дѣточекъ, у которыхъ тамъ нѣтъ своей елки...

И узналъ онъ, что мальчики эти и дѣвочки всѣ были все такія-же какъ онъ дѣти, но одни умерли отъ холода, другія отъ голода, третьи отъ побоевъ, четвертыя отъ недостатка лекарствъ даже въ такихъ болѣзняхъ, которыя, при мало-мальскомъ уходѣ, должны были окончиться благополучно; и всѣ-то они теперь здѣсь, всѣ они теперь какъ ангелы, всѣ у Христа, и Онъ самъ посреди ихъ, и простираетъ къ нимъ руки, и благословляетъ ихъ и ихъ бѣдныхъ матерей... А матери этихъ дѣтей всѣ стоятъ тутъ-же, въ сторонкѣ, и плачутъ; каждая узнаётъ своего мальчика или дѣвочку, а они подлетаютъ къ нимъ и цѣлуютъ ихъ, утираютъ имъ слезы своими ручками и упрашиваютъ ихъ не плакать, потому что имъ здѣсь такъ хорошо...

А внизу, на утро, дворники нашли маленькій трупикъ забѣжавшаго и замерзшаго за дровами мальчика...

Ѳ. Достоевскій.

Кузнечикъ-музыкантъ.

Про сверчка-нахала, что́ скрипитъ у печекъ,
Говорить не стану; мой герой—кузнечикъ.
Росту небольшаго, но продолговатый,
На спинѣ носилъ онъ фракъ зеленоватый;
Тонконогій, тощій и широколобый,
Былъ онъ сущій геній—даръ имѣлъ особый:
Музыкантомъ слылъ онъ между насѣкомыхъ,
И концерты слушать приглашалъ знакомыхъ.
Подъ роскошной жатвой жилъ онъ въ полѣ чистомъ.
На стеблѣ, бывало, въ свѣтѣ серебристомъ
Мѣсяца сидитъ онъ и, во славу ночи,
На своей скрипицѣ пилитъ что́ есть мочи.
И его дразнили пискуны пустые,
Комары-злодѣи, трубачи степные,
И въ него влюблялись божіи коровки,
И мутила зависть многія головки,
Съ тѣмъ-же музыкальнымъ, можетъ, направленьемъ,

Съ тою-же охотой, да не съ тѣмъ умѣньемъ.
Такъ тяжеловѣсный жукъ неоднократно
Увѣрялъ, что уши смачивать пріятно
На его концертахъ, а не то, де, уши,
Какъ трава, завянутъ отъ ужасной суши.
И въ душѣ кузнечикъ на него не мало
Золъ былъ, но не трогалъ; не любилъ скандала.
Какъ-то разъ въ Петровки, около полудня
Мой герой, наѣвшись за обѣдомъ студня,
Вышелъ насладиться запахомъ горошка,
Легъ, прищуря глазки, и мечталъ немножко.
Много пролетало мимо насѣкомыхъ,
Осъ, шмелей сердитыхъ—трубачей знакомыхъ,
Съ разными вѣстями. Ни къ кому съ вопросомъ
Онъ не обратился. Все, что́ передъ носомъ
У него жужжало, по́лзало, вертѣлось,
Нашему артисту слишкомъ приглядѣлось.
Вдругъ надъ нимъ порхнуло чудное видѣнье,
Бабочка—такая, что мое почтенье!
Бѣлизны жемчужной крылышки съ каемкой,
Глазки—изумруды, носикъ нѣжный, тонкій,
Бархатецъ на шейкѣ, бантикъ на затылкѣ...
Увидалъ кузнечикъ—затряслись въ немъ жилки.
Бабочка, порхая, сѣла на цвѣточекъ.
Онъ—прыгъ-прыгъ—и рядомъ сѣлъ на бугорочекъ.
„Здравствуйте!“ сказалъ онъ.
Бабочка украдкой
На него взглянула: „Ахъ, какой онъ гадкій!“
Думаетъ... Однако-жь улыбнулась мило,
Подняла свой носикъ и проговорила:
„Здравствуйте, кузнечикъ! Звуки вашей скрипки
Часто долетаютъ даже къ намъ подъ Липки.“

стрн. 154.

— „Въ самомъ дѣлѣ?“
— „Какъ же. Даже въ свѣтѣ знаютъ,
Что вы геній; право! всѣ васъ изучаютъ.
Ваши звуки сладки—точно земляника.“
Лестное сравненье было очень дико;
Но его артистъ мой даже не замѣтилъ,
Покраснѣлъ и, низко кланяясь, отвѣтилъ:
„Я давно готовлю новый вальсъ. Позвольте
Вамъ его теперь же посвятить?“
— „Извольте.
У меня же завтра танцы очень кстати.
Удостойте вашей новой благодати.
Не забудьте скрипки.“
Тутъ она зѣвнула:
„Не взыщите! Ныньче поздно я заснула:
У своей кузины провела на балѣ...
То-то бы влюбились, еслибъ увидали!
Впрочемъ, извините! Я васъ утомила
Болтовней. Прощайте.“
И она сложила
Крылышки (такъ точно бабушкины внучки,
Присѣдая гостю, складываютъ ручки),
И взвилась, какъ листикъ,—новая Сильфида.
Скоро мой кузнечикъ потерялъ изъ вида
Полевую фею, подскакнулъ, вцѣпился
Въ усики ржанаго колоса,—и злился,
Что проклятый вѣтеръ колосъ нагибаетъ,
Нагибая колосъ, видѣть въ даль мѣшаетъ...
Въ этомъ положеньи шмель его увидѣлъ,
И нескромнымъ словомъ прыгуна обидѣлъ.
Бѣдненькій кузнечикъ тутъ-же спохватился.
Растопырилъ фалды и въ траву свалился.

Здѣсь, ни чуть не медля, сталъ писать онъ ноты,
И усталъ же, бѣдный, отъ такой работы:
Съ одного присѣста кончилъ! Только скликать
Прочихъ музыкантовъ—и начать пиликать.
И народу куча собралась на пробу!
Даже жукъ навозный, начинивъ утробу
Всякой дрянью, смуглый, толстый и рогатый,
Уши отъ простуды затыкая ватой,
За толпой пробрался, растерялъ калоши,
Ничего не понялъ, а забилъ въ ладоши.
Божія коровка всѣхъ перепугала:
Отъ восторга ныла—ныла и упала
Въ обморокъ .. Спасибо, муравей, съ шнуровкой
Подъ жилетомъ моднымъ, малый очень ловкій,
Чтó встрѣчалъ коровку у NN въ салонѣ,
Далъ ей спиртъ понюхать въ маленькомъ флаконѣ.
Много было шуму: музыку хвалили,
Музыку бранили, спорили, судили.
Но въ тотъ день герой мой такъ ужь былъ разсѣянъ,
Что и не замѣтилъ, кѣмъ онъ былъ осмѣянъ.
Былъ еще кузнечикъ—съ нашимъ музыкантомъ
Хоть одной породы, да не съ тѣмъ талантомъ;
Мастеръ былъ устроить гвалтъ и потасовку,
Напугать козявку, осмѣять коровку,
Одурачить муху, паука спровадить,
И при всемъ при этомъ съ цѣлымъ міромъ ладить.
Нашего артиста обожалъ онъ страстно.
„Другъ мой!“ говорилъ онъ, „не трудись напрасно;
Съ бабочками, знаешь, мýка—не забава.
Осмѣётъ и только! Брось ты это, право!“
Не послушалъ друга геній нашъ упрямый;
Пробилъ часъ урочный—скокъ подъ Липки прямо.

Липки—это было нѣчто въ родѣ парка:
Въ серединѣ—прудикъ, а при въѣздѣ—арка
Изъ вѣтвей—такая, что была безспорно
Чудомъ совершенства; такъ была просторна,
Что, вообразите, насѣкомыхъ двѣсти
Въ рядъ могли бы въѣхать. Вы меня повѣсьте,
Если вру! Строитель былъ—сама природа.
Коврикъ весь изъ моху постланъ былъ у входа.
А ужь залъ! Гнилушки, точно сталактиты,
Облипали стѣны, зеленью повиты.
Впрочемъ, домъ Сильфиды, если только строго
Придираться къ стилю, смахивалъ немного
На дупло.
Кузнечикъ такъ былъ очарованъ,
Или, можетъ, сердцемъ наэлектризованъ,
Что дрожалъ и таялъ,—молча ждалъ Сильфиды,
Подходилъ къ окошку и глядѣлъ на виды.
Бабочка-хозяйка пó саду порхала,
Съ милыми гостями весело болтала.
Чернокожій клопикъ, вѣрно сынъ швейцарскій
Или внучекъ няни, крестничекъ боярскій,
Доложилъ Сильфидѣ, что какой-то длинный
Господинъ изволитъ ждать ее въ гостинной.
Въ садъ черезъ лакея гостя пригласила.
„Вы мнѣ написали ноты? Ахъ, какъ мило!
Вотъ, mesdames, нашъ новый геній музыкальный.“
Барышни съ улыбкой нѣсколько нахальной
Всю его фигуру зорко оглядѣли
И едва свой хохотъ удержать съумѣли.
Къ жизни насѣкомыхъ высшаго разряда
Не былъ онъ привыченъ. Въ далекѣ отъ сада,
Бѣденъ, худъ и блѣденъ, съ головы до пятокъ

На себѣ носилъ онъ рѣзкій отпечатокъ
Поля, гдѣ лишь тучи подаютъ свой голосъ,
Гдѣ привольно зрѣетъ и лепечетъ колосъ.
Но въ виду того, что бабочкой отмѣнно
Принятъ былъ, дѣвицъ онъ ласково-надменно
Оглядѣлъ, какъ-будто вѣкъ вращался въ свѣтѣ,
Съ юныхъ лѣтъ катался въ собственной каретѣ.
„Что-же, не начать ли?“ молвила хозяйка.
—„Очень радъ!“сказалъ онъ.
И лихая шайка
Полевыхъ артистовъ тутъ-же собралàся,
По сучку на хоры мигомъ взобралàся.
„Не плошай, ребята!“произнесъ кузнечикъ.
Лихо зная ноты, стало быть, безъ свѣчекъ,
Тѣ застрекотали, эти затрубили,
Третьи на скрипицахъ яро запилили.
Но, вертясь на ножкѣ впереди оркестра,
Запилилъ всѣхъ громче молодой маэстро.
Балъ какъ балъ! Десятки шпанскихъ мухъ въ ливреяхъ
Курятъ ароматы въ сумрачныхъ аллеяхъ.
Свѣтляки, подобно шкаликамъ и плошкамъ
Вспыхивая, блещутъ вдоль по всѣмъ дорожкамъ.
Бабочки, стрекóзы въ бальномъ одѣяньи
Весело порхаютъ въ мѣсячномъ сіяньи.
Жуколицы ходятъ около буфета;
Ползаютъ козявки... И большаго свѣта
Жесткія особы—божія коровки
Собрались другъ другу показать обновки.
Молча подбираясь къ двумъ зеленымъ мухамъ,
Два жучка какихъ-то выступаютъ брюхомъ
На короткихъ ножкахъ. Муравей, съ шнуровкой

Подъ жилетомъ моднымъ, съ желтенькой коровкой,
Важно и небрежно присѣдая, пляшетъ.
Рѣзвая Сильфида крылышками машетъ;
Глазки, носикъ, ножки, платьица узоры—
Все въ ней по-неволѣ привлекаетъ взоры.
Мой артистъ-кузнечикъ и душой пылаетъ,
И очей не сводитъ, и какъ чортъ играетъ.
По ея же просьбѣ, сердцемъ неизмѣнный,
Сочинилъ онъ этотъ танецъ вдохновенный,
Танецъ, подъ который скачутъ и понынѣ
Стаи насѣкомыхъ на любой куртинѣ.
Но и этотъ свѣтскій балъ не обошелся
Безъ скандала: въ паркѣ, говорятъ, нашелся
Злой паукъ, который съ вѣточки на вѣтку
Протянувши нити, невидимку-сѣтку
Сдѣлалъ такъ канальски ловко и искусно,
Что тайкомъ, быть можетъ, и покушалъ вкусно.
Говорятъ, вдобавокъ шлепнулась коровка,
И у ней отъ страха лопнула шнуровка.
Самъ артистъ замѣтилъ, какъ его Сильфиду
Паучекъ какой-то, пренаивный съ виду,
За крыло задѣвши чѣмъ-то въ родѣ петли,
Притянуть старался и глядѣлъ ужь,—нѣтъ-ли
Гдѣ такого мѣста, чтобы на досугѣ
Съѣсть свою хозяйку. Но артистъ въ испугѣ
Подскочилъ и пóрвалъ роковыя сѣти.
Паучекъ надулся. А комаръ: „Смотрите,“
Пропищалъ артисту, „какъ вы замарались,
Точно, подгулявши, по землѣ валялись.“
Покраснѣлъ кузнечикъ; видитъ: паутина
Къ рукаву прилипла.
„Экая скотина!“

Проворчалъ—и вытеръ.
Бабочка ни слова
Не сказала, только выбрала другаго
Кавалера: этотъ кавалеръ крылатый
Былъ ея сосѣдки братецъ глуповатый.
„Правда ли,“ спросилъ онъ: „слухъ идетъ изъ нивы,
Будто-то бы въ маэстро страстно влюблены вы?
Будто-бы кузнечикъ говорилъ, что хочетъ
Онъ на васъ жениться,—и о томъ хлопочетъ?“
— „Что вы говорите?“ молвила Сильфида.
„Мой женихъ—кузнечикъ! какова обида!
Кто такіе въ свѣтѣ распускаетъ слухи?
Или эту глупость выдумали мухи!“
— „Нѣтъ, совсѣмъ не мухи-съ! кто-то изъ оркестра
Говорилъ, что будто слышалъ отъ маэстро.“
Фея надъ собою сдѣлала усилье,
Чтобъ не разсердиться—и, встряхнувши крылья,
Бросила холодный взглядъ на музыканта;
А когда кричали въ честь его таланта:
„Браво! фора! фора!“—дѣлала гримаски,
Или улыбалась, опуская глазки.
Балъ подъ темнымъ небомъ длился до разсвѣта.
Бабочка устала.—Вдругъ за рощей гдѣ-то
Соловей защёлкалъ. Ей тогда сказали
(Можно-ли безъ лести обойтись на балѣ!),
Ей сказали: „Фея! прекратите танецъ,
Слышите ли пѣнье?—это иностранецъ,
Соловей пролетный вздумалъ серенаду
Вамъ давать.“
И точно, по всему-то саду
Разсыпались звуки, страстно замирая
Въ безконечныхъ треляхъ. Бабочка, внимая

Соловью, мечтала. Въ это время сзади
Подошелъ кузнечикъ.
„Фея! Бога ради!..
Что вы такъ печальны?...“
— „Жалкій музыкантикъ!“
Прошептала фея, пощипавши бантикъ
На своемъ корсажѣ: „развѣ я не знаю...“
— „О!“ сказалъ кузнечикъ:—„я не понимаю,
Чтó вы говорите... Соловьи опасны,
И хотя, положимъ, пѣсни ихъ прекрасны,
Все-же не въ народномъ духѣ.“
Засмѣялась
Бальная царица—и, какъ тѣнь, умчалась.
Сильно озадаченъ былъ кузнечикъ бѣдный
И домой поплелся сумрачный и блѣдный.
Часто спотыкаясь, онъ добрался еле.
Другъ его гуляка ужь лежалъ въ постели.
Ненавистникъ свѣта, бабочекъ крылатыхъ,
Гладенькихъ коровокъ и червей лохматыхъ,
Онъ, увидѣвъ друга, вопросилъ сердито:
„Что, братъ, былъ-ли ужинъ? накормили сыто,
Или и понюхать не дали съѣстнаго?
Что, братъ, какъ дѣлишки? Все ли тамъ здорово
И благополучно?... Точно ты не веселъ?
Говори-ка, кайся, чтó ты носъ повѣсилъ?“
И повѣдалъ другу тотъ лихое горе.
„Эхъ!“ вскричалъ гуляка. „И объ этомъ вздорѣ
Ты вотъ изнываешь? Вѣдь, ей-Богу, стыдно!
Буду правду рѣзать: гдѣ же это видно,
Чтобъ сверчокъ...“
— „Кузнечикъ!“ перебилъ кузнечикъ.
— „Чтобъ сверчокъ...“

— „Кузнечикъ!“ перебилъ кузнечикъ.
— „Ну, хоть и кузнечикъ! ну, положимъ даже,
Ты сверчка немного чище и поглаже,
И немножко больше чувствуешь свободы—
Все-жь ты, братецъ, съ нею не одной породы.
Знаю я всѣхъ этихъ бабочекъ, бабошекъ!
Жить онѣ не могутъ безъ цвѣтныхъ вѣтошекъ;
За женой бабошкой гдѣ-жь тебѣ упрыгать?
Гдѣ-жь тебѣ повсюду вслѣдъ за нею шмыгать?
Въ свѣтѣ, гдѣ не рѣдко всѣхъ умнѣй—невѣжда!
На талантъ—плохая, братецъ мой, надежда.“
Долго такъ бранился, убѣждалъ онъ друга;
Но артистъ влюбленный поддавался туго,
Наконецъ усталый на постель свалился.
Тотъ махнулъ рукою—и угомонился.
На другое утро вдругъ распространилась
Вѣсть, что будто что-то съ бабочкой случилось:
Отъ вчерашней нѣжной соловьиной трели
(Такъ, по крайней мѣрѣ, сплетники галдѣли)
У нея головка будто закружилась,
И она не въ шутку въ соловья влюбилась.
Между тѣмъ бездушный иностранецъ этотъ
Практикуетъ, слышно, прековарный методъ:
Насѣкомыхъ прежде трелью очаруетъ,
А затѣмъ до смерти носомъ и заклюетъ.
Такъ и за Сильфидой трель свою закинулъ,
Поклевалъ бѣдняжку, да потомъ и кинулъ.
Не хотѣлъ сначала вѣрить бѣдный геній,
Но уже къ обѣду не было сомнѣній:
Прямо шли изъ парка эти злые слухи,
Стало быть, не врали комары и мухи!
Мой герой готовъ былъ съ соловьемъ хоть драться,

Взялъ себѣ въ подмогу забіяку-братца:
„Какъ тамъ хочешь, надо намъ сыскать Сильфиду!
Не дадимъ злодѣю-соловью въ обиду.“
Вечеръ былъ ненастный. Квакали лягушки:
Подъ налетомъ вѣтра гибкія верхушки
Жатвы колыхались, словно волны; капалъ
Тихій дождь, и гдѣ-то перепелъ вавакалъ;
Паучки свернулись; пораскисли мушки;
Комары притихли. Около опушки
Въ темнотѣ кузнечикъ шелъ самъ-другъ съ гулякой.
„Слушай-ка, пріятель! надо бы на всякій
Случай запастись намъ фонаремъ хоть, что-ли,“
Говорилъ гуляка: „тутъ не въ чистомъ полѣ;
Заберемся въ чащу, такъ въ потьмахъ наткнуться
Можно на лягушку, или кувырнуться.
Гей!“ Онъ свиснулъ. „Кто тамъ?“ И, подъ подорожникъ
Заглянувши, крикнулъ: „Ну-ка, ты, пирожникъ,
Выходи!“
И вышелъ таракашекъ смуглый,
Какъ медовый пряникъ, и какъ булка круглый.
„Что вамъ надо?“
— „Гдѣ тутъ къ свѣтляку дорога?“
— „Дальше, баринъ, дальше, поправѣй немного,
Тамъ, подъ Божьей травкой, двѣ еловыхъ шишки,
Тамъ спросите... Жаль вотъ, спятъ мои мальчишки...“
— “Э!“ сказалъ гуляка: „мы идемъ—не свищемъ,
А къ еловымъ шишкамъ сами путь отыщемъ.“
— „Дали бы на водку, я пошелъ бы съ вами.“
— „Не ходи, любезный!“ шевеля усами,
Возразилъ гуляка.

— „Больно ночь муруга!“
— „Ну, не ври, любезный.“
И пошли два друга
Къ двумъ еловымъ шишкамъ. Стукъ—стукъ. „Отворяй-ка
Двери!“
— „Кто тамъ?“
— „Лѣшій!“
— „Кто тамъ?“
—„Вылѣзай-ка!“

И свѣтлякъ, съ разбитымъ фонаремъ, пустился
Въ лѣсъ казать дорогу. Клялся и божился,
Что Сильфиды нынче и въ глаза не видѣлъ,
Говорятъ, ее, де, соловей обидѣлъ...

Долго, до полнóчи, прыгуны блуждали,
Наконецъ на свѣжій слѣдъ они напали.
Глядь: неподалеку спѣющей брусники,

Подъ корнями красной полевой гвоздики,
Одинокимъ трупомъ бабочка лежала:
Ножки протянула, крылья распластала,
И, казалось, лёжа небесамъ молилась;
Вся окоченѣла, но не измѣнилась;
Тотъ-же сохранился очеркъ милый, нѣжный,
Тою-же сіяли бѣлизною снѣжной
Матовыя крылья. Черная косынка
На груди раскрылась. Крупная слезинка,
Какъ алмазъ, блестѣла около рѣсницы,
И какъ бархатъ были темныя косицы.
Мертвая казалась сонной; но чернѣла
Маленькая ранка... Молча возлѣ тѣла
Постоялъ кузнечикъ, сердцемъ надрываясь.
Молча съ огонечкомъ къ трупу наклоняясь,
Свѣтлячекъ, какъ-будто сильно пораженный
Небывалымъ чудомъ, жмурился, какъ сонный.
У гуляки тоже хмѣль прошелъ. Сурово
Онъ глядѣлъ и то, что́ видѣлъ, было ново
Для него. На сердцѣ даже стало жутко.
Понялъ, что надъ мертвымъ неприлична шутка.
Постоявъ, толкнулъ онъ друга:
„Ну, конечно,
Жаль, да вѣдь нельзя же горевать намъ вѣчно!
Сдѣлаемъ носилки, и ее прилично
Отнесемъ подъ Липки. Все пойдетъ отлично.
Только ты напрасно, братъ, не надрывайся,
Силъ не трать, и плакать послѣ постарайся.“
Сдѣлали носилки, положили тѣло,
Подняли—и долго поступью несмѣлой
Шли они по травкамъ, шли они по кочкамъ.
Впереди мелкая яркимъ огонечкомъ,

Шелъ свѣтлякъ; и сотни разныхъ насѣкомыхъ,
Нашему артисту вовсе незнакомыхъ,
Шумно просыпались въ перелѣскѣ темномъ.
„А! ба! кто тамъ? что тамъ?“ слышалося въ сонномъ
Царствѣ. Вдругъ во мракѣ жалкій пискъ раздался:
Муравей какой-то пóдъ ноги попался.
Комары, проснувшись и поднявшись роемъ,
Затрубили въ трубы, точно передъ боемъ,
Но, слетѣвшись кучей и увидѣвъ тѣло,
Взяли тономъ ниже (поняли, въ чемъ дѣло...),
И, трубя плачевно, въ разстояньи дальнемъ,
Огласили воздухъ маршемъ погребальнымъ.
Къ свѣтляку другіе свѣтляки пристали:
Свѣчи ихъ то гасли, то опять мелькали.
Съ жалобнымъ жужжаньемъ поднимались мухи,
И, жужжа, другъ другу повѣряли слухи.
Бабочка, Сильфиды прежняя подруга,
Высунула носикъ, блѣдная съ испуга,
И потомъ, спустившись по листочкамъ, сѣла
На холодный камень и—оцѣпенѣла.
Предразсвѣтный вѣтеръ, невидимкой вѣя,
Думалъ, что воскреснетъ молодая фея:
Шевелилъ у мертвой легкими крылами,
И дышалъ въ лицо ей влажными устами.
Между тѣмъ съ востока, тихо раздвигая
Облакà, вставала зорька золотая;
И когда все стало ясно отъ улыбки
Пламенной богини, принесли подъ Липки
Мертвую Сильфиду; тамъ ее сложили,
Вырыли могилу и похоронили.

И когда надъ этой новою могилой
Думалъ злую думу мой артистъ унылый,
Въ жаркихъ искрахъ солнца за лѣсной куртиной
Звучно раздавался рокотъ соловьиный.

Я. Полонскій.

Мухоморъ.

ожья коровка опрометью бѣжала къ сосѣдней кочкѣ; она была въ страшномъ испугѣ и едва могла перебираться черезъ разныя препятствія, встрѣчаемыя на дорогѣ. Красненькая ея одежда, испещренная черными пятнышками, на этотъ разъ была въ безпорядкѣ: она раздвинулась, и одно прозрачное крылышко торчало наружу. Ясно было видно по ея одеждѣ, что она накинула ее кое-какъ и забыла спрятать тонкую ткань нижнихъ крыльевъ. Задыхаясь, переваливаясь и спотыкаясь на каждомъ шагу, добѣжала она до кочки и, остановясь у подножія зеленаго моха, едва переводя духъ, окликнула сосѣдку.

— Гдѣ ты тамъ, сосѣдка?—кричала она.—Выходи скорѣе!

На голосъ ея изъ-подъ зеленаго моха показалась опрятно-одѣтая желтенькая букашка съ черными крапинками на платьѣ. Сосѣдка была тоже божья коровка.

— Что случилось? — спросила она, просовываясь между двумя тычинками моха, похожими на крошечныя елки.

— Бѣда, матушка!—заголосила красная.—Духу не переведу... такъ неумойкой къ тебѣ и прибѣжала... не успѣла прибраться какъ слѣдуетъ...

— Да что-жь у васъ? говори толкомъ.

— Страсти господни, сосѣдка! Какъ и сказать, не знаю... Сидѣли мы всѣ смирно на кочкѣ, что́ подъ елью, и всякій занимался своимъ дѣломъ; какъ вдругъ,—о, Господи, страсти какія! даже и вспомнить не могу!... Кочка-то наша родимая вся ходенемъ заходила, такъ и надулась, а земля-то подъ ногами треснула; да шумъ какой! Цѣлый комокъ моху такъ и выворотило; даже мы на ногахъ не устояли: всѣ, какъ есть, повалились. Охъ, страсти! и теперь не опомнюсь...

— Что за оказія?—сказала удивленная желтая;—да вѣдь что-нибудь должно быть видно? Вы бы поглядѣли.

— Чего глядѣть-то!—возразила красная.—Мы со страху всѣ, какъ есть, разбѣжались. А куда дѣнешься-то? У всѣхъ гнѣзда, яйца, сама знаешь! Куда пойдешь въ такую пору?

И она заплакала.

— Нечего убиваться до́ время,—утѣшала благоразумная желтая.—Надо выждать; а тамъ, что́ Богъ дастъ. Такъ и быть, пойдемъ, поглядимъ.

И обѣ отправились.

Еще издали увидѣли онѣ страшную суматоху: отъ кочки народъ такъ и валилъ; кто чтó могъ ухватить, тó и тащилъ: кто зернышко, кто яйцо, кто уцѣпилъ листокъ больше себя ростомъ, и всѣ безъ оглядки бѣжали, толкая другъ друга. Смятеніе было страшное, и ясно было видно, что народъ вовсе ошалѣлъ отъ страха.

Кто помоложе—карабкался на высокую былинку, и, не достигнувъ ея верхушки, кубаремъ сваливался внизъ. Всѣ до того растерялись, что даже крылатые жители забыли воспользоваться природнымъ удобствомъ и, вмѣсто того, чтобъ распустить крылья, тутъ-же толкались между бѣжавшими, прибавляя къ общему смятенію.

— Господи! куда я дѣнусь съ малыми дѣтьми?—заголосила красная и въ отчаяньи повалилась на землю вверхъ ножками.

Даже желтая сильно смутилась и украдкою поглядывала въ ту сторону, гдѣ была ея кочка; но тамъ было все спокойно.

— Не тужи, мать моя!—утѣшала она несчастную.—Вѣдь ужь этимъ горю не поможешь, а убиваться грѣхъ большой. Все по грѣхамъ нашимъ наказаніе посылается; охъ, согрѣшили мы!

— Да куда дѣваться-то?!—стонала красная;—куда я теперь голову приклоню?! Раззореніе, да и только!

— Вставай-ка! чтó ногами-то болтать?—продолжала утѣшительница.—На все власть Божія. А теперь пойдемъ ко мнѣ; наглядѣлись мы съ тобой страстей-то.

И она потащила за собою убитую горемъ красную.

Много бесѣдовали сосѣдки, много плакалъ народъ; раззореніе было общее, и вокругъ страшнаго мѣста царствовала мертвая тишина, прерываемая лишь изрѣдка трескомъ земли; мохъ разступался больше и больше; цѣ-

лые комки его, оторванные отъ земли, валялись около кочки. Жителя на ней не было уже ни одного.

Къ вечеру, когда всѣ бѣжавшіе размѣстились кое-какъ по сосѣднимъ кочкамъ, и умы нѣсколько поуспокоились, собралась молодежь: стали толковать о страшномъ событіи; и такъ какъ первый страхъ уже прошелъ, то молодой жучокъ предложилъ товарищамъ пройдтись до опаснаго мѣста и обозрѣть окрестности. Сильно отговаривали ихъ старые жуки; а божьи коровки и слышать не хотѣли, чтобы кто-нибудь показалъ носъ въ ту сторону. Но смѣльчакъ, синій жукъ, стоялъ на своемъ, и кучка храбрыхъ товарищей рѣшилась потихоньку пробраться къ тому мѣсту. Однако рѣшено было послать впередъ крылатаго муравья: онъ долженъ былъ не идти пѣшкомъ, а летѣть и держаться на нѣкоторой высотѣ, чтобы, въ случаѣ опасности, тѣмъ-же путемъ воротиться во-свояси.

Снарядился нашъ муравей и отправился. Вся молодежь дожидалась его на опушкѣ моха, около того мѣста, гдѣ кончаются крошечныя елки и начинается ровный, бархатный лугъ моховины.

Вскорѣ посланный вернулся и объявилъ, что тамъ все спокойно, но издали онъ видѣлъ что-то страшное: въ землѣ краснѣется, точно огонь, а никого нѣтъ.

Смѣльчаки переглянулись и нѣсколько времени оставались въ нерѣшимости; но сами устыдились своей трусости и твердо рѣшились, пока еще солнце не сѣло, отправиться къ тому мѣсту всей компаніей.

Сказано—сдѣлано. Общество гурьбой отправилось въ ту сторону.

Подойдя близко къ кочкѣ, они остановились и стали прислушиваться: тихо!—Синій жукъ, какъ самый храбрый, полѣзъ на кочку и закричалъ:

— За мной, кто не трусъ!

Кровь бросилась въ голову молодежи, и всѣ, какъ одинъ, устремились на кочку.

Едва они достигли верхушки, какъ вдругъ раздался трескъ, земля разступилась...

— Прочь съ дороги!—закричалъ кто-то страшнымъ голосомъ, и изъ земли показался огромный, толстый и красный, какъ ракъ,—мухоморъ! Только бѣлый, разодранный плащъ прикрывалъ его мѣстами. Онъ лихо держалъ шапку на бекрень и, подбоченясь, гордо надувшись, обозрѣвалъ окрестность.

Отъ этого зрѣлища наша молодежь кубаремъ свалилась съ кочки и, не оглядываясь, въ ужасѣ бѣжала въ разсыпную.

— Дальше отъ кочки! — грозно кричалъ мухоморъ, надуваясь и краснѣя все больше и больше.

Но наши смѣльчаки и такъ ногъ подъ собой не слышали. Мухоморъ это видѣлъ, но нарочно хотѣлъ почваниться и всѣмъ задать страху.

Какъ пьяные, добрались молодые жуки до своихъ, и безъ чувствъ повалились въ мохъ, болтая въ воздухѣ ногами.

— Господи! — вопили божьи коровки; — да когда же будетъ конецъ этимъ ужасамъ? Должно быть, пришелъ конецъ свѣту... Охъ, головушки наши бѣдныя!

Долго причитали онѣ надъ своей перепуганной молодежью, и только тогда успокоилось народное волненіе, когда луна уже взошла высоко, и свѣжая роса прохладила разгоряченныя головы. Наконецъ все смолкло.

Ночь стояла тихая, звѣздная. Голубой свѣтъ мѣсяца серебрилъ окрапленные цвѣты и бѣлые стволы кудрявыхъ березъ; вѣтки ихъ длинными прядями колыхались въ ноч-

стрн. 172.

номъ воздухѣ и наводили сонъ и успокоеніе на все живущее. Безъ шума плыла серебряная луна по синему небу; безъ шума блистали яркія звѣзды въ прозрачной синевѣ; безъ шума благоухали цвѣты и наполняли воздухъ ароматомъ.

Бѣдный, засохшій стебелекъ кивалъ томно головкою, вздремнувъ при всеобщемъ молчаніи. Онъ доживалъ свой вѣкъ тихо, безропотно.

Изрѣдка земля вокругъ мухомора глухо пощелкивала; но онъ все стоялъ подбоченясь, и съ важностью и съ презрѣніемъ глядѣлъ на сухой стебелекъ, преклонившійся къ землѣ. Но дремота наконецъ и его одолѣла: онъ заснулъ, не перемѣняя своего положенія, и не замѣчалъ, какъ тихая, звѣздная ночь задумчиво роняла слезы на его гордую, глупую голову.

На небѣ стало темнѣть; мѣсяцъ уплылъ за край земли; звѣзды поблѣднѣли, и на востокѣ показалась яркая розовая полоска. Вѣтеръ быстро пробѣжалъ по сонному царству цвѣтовъ и насѣкомыхъ; цвѣты дрогнули и тихо повернули головки къ розовой полоскѣ свѣта. Вся окрестность освѣтилась розовымъ пламенемъ; облака, позолоченныя по краямъ, поплыли по небу, а туманъ, поднявшись съ земли, пустился за ними въ погоню.

Все въ лѣсу проснулось: птицы запѣли; зашевелились насѣкомыя; маленькая бѣлка съ пушистымъ хвостикомъ забралась на березу, оттуда перекинулась на ель и, качаясь на вѣткѣ, навострила ушки. Заяцъ перепрыгнулъ черезъ дорогу и во весь духъ понесся черезъ поле къ ближнему ручью. Малиновка просвистала гдѣ-то въ чащѣ. Мошки, жучки и божьи коровки пришли въ движеніе.

Стебелекъ приподнялъ согнутую головку и посмотрѣлъ на мухомора: тотъ стоялъ еще краснѣе; шапка его была

усѣяна бѣлыми пуговицами, и весь онъ, надувшись, еще больше вчерашняго вылѣзъ изъ земли. Ростъ и дородство его пугали даже воробьевъ; а божьи коровки, какъ вышли поутру умываться росою, такъ и онѣмѣли отъ ужаса. Мухоморъ былъ видѣнъ даже съ ихъ кочки.

— Экая страсть!—говорили онѣ между собою въ-полголоса.—Вѣдь уродится же этакій! Да никакъ онъ на насъ глядитъ?...

И всѣ въ разсыпную бросились къ срединѣ кочки.

Молодые жуки утромъ очень стыдились своей вчерашней слабости, и не знали, какими глазами смотрѣть на сосѣдей. Переговоривъ между собою, они рѣшили погулять опять въ окрестностяхъ мухомора,—разумѣется, не подходя къ нему близко. Услыхавъ о приготовленіяхъ, красная божья коровка рѣшилась тащиться вслѣдъ за ними. Она оставила на кочкѣ все свое хозяйство и хотѣла хоть издали посмотрѣть, не спаслось ли что-нибудь? И такъ, незамѣченная никѣмъ, она прокралась между моховыхъ тычинокъ и спряталась не въ далекѣ отъ страшной кочки.

Но мухомору съ вышки все было видно: онъ какъ разъ замѣтилъ компанію молодежи и божью коровку.

— Не подходить!—заревѣлъ онъ;—не то всѣхъ отравлю!

Жуки остановились, но не пошли назадъ. Синій даже выступилъ изъ толпы.

— Ахъ, ты дерзкій!—загремѣлъ мухоморъ.—Да знаешь ли, кто я? Я—мухоморъ! А это что такое, какая дрянь тамъ прячется? Туда же, въ красномъ платьѣ! прочь, мелочь!

Жучки сильно струсили, но не подавали вида и все смотрѣли издали на разъяреннаго. Коровка сжалась въ

комокъ и подлѣзла подъ крошечную елку. А стебелекъ все внимательно слушалъ и только въ раздумьи качалъ головой: видно было, что онъ думаетъ глубокую думу.

Жуки удалились, дѣлая видъ, что гуляютъ и ничего не боятся.

Сталъ накрапывать дождь. Всѣ живыя существа попрятались, кто куда могъ. Мухоморъ гордо стоялъ, подбоченясь, и хохоталъ во весь ротъ надъ трусостью мелкаго народа. Дождь лилъ ливмя съ его упругой головы и падалъ пóдъ ноги цѣлымъ каскадомъ; шапка стала еще краснѣе.

Но вотъ закатилось солнце, а дождь не переставалъ. Вся окрестность какъ-будто покрыта была прозрачной пеленой; все притихло,—только около мухомора былъ слышенъ шумъ воды, какъ отъ водосточной трубы. Такъ прошла вся ночь.

На утро небо выяснѣло, и всѣ выползли изъ своихъ убѣжищъ. Молодежь взобралась на верхушку своей кочки, чтобъ съ вышки наблюдать мухомора.

— Помогите! — вдругъ раздался громкій голосъ; — братцы, помогите! Мушки, жуки, божьи коровки... падаю!

Народъ въ ужасѣ высыпалъ на кочку. Всѣ смотрѣли въ ту сторону.

— Валюсь, совсѣмъ валюсь! —кричалъ отчаянно мухоморъ; и правда: видно было, какъ весь онъ покривился нà сторону; шапка вовсе сползла на затылокъ; лицо сморщилось и посинѣло.

Партія молодыхъ жуковъ бросилась къ нему, забывъ опасность; но не успѣли они вскарабкаться на кочку, какъ мухоморъ тяжело шлепнулся въ грязь.

— Раскисаю!...—простоналъ онъ хриплымъ басомъ;— совсѣмъ раскисаю...

И, дѣйствительно, въ тотъ-же день храбрый воинъ раскисъ совсѣмъ. Къ вечеру ужь нельзя было узнать, гдѣ была шапка и гдѣ лицо: весь онъ представлялъ изъ себя комокъ липкой грязи...

А стебелекъ качалъ головою и думалъ крѣпкую думу.

„Сколько зла!“—размышлялъ онъ:—„Мѣсто отравлено; воздухъ зараженъ; жители въ ужасѣ и въ горѣ. О, еслибы удалось поправить зло и возстановить счастіе!“

Горькая, послѣдняя слезинка выкатилась изъ потухающихъ его глазъ; слабымъ движеніемъ взялъ онъ изъ своего сердца лучшее сѣмячко и бросилъ его въ липкій комокъ.

Прошло лѣто, прошла и зима. Настала новая весна. Проснулось населеніе кочки и радостно взглянуло на свѣтъ Божій. Жуки и божьи коровки собирались переселяться на старую кочку, но сначала рѣшили осмотрѣть мѣстность. Всѣ они гурьбой отправились къ родному пепелищу, и что же представилось ихъ глазамъ?

На мѣстѣ страшнаго мухомора—стройный ландышъ! Распустивъ широко темные листья, стоялъ онъ какъ вкопанный и только покачивалъ вѣточкою, увѣшанною бѣлыми чашечками. На всѣхъ смотрѣлъ онъ ласково и радостно.

— Придите всѣ ко мнѣ,—говорилъ онъ, протягивая широкія объятія:—я стою здѣсь для васъ, и пока буду жить, вы будете имѣть прохладу и тѣнь отъ моихъ листьевъ, сокъ и медъ отъ моихъ чашечекъ. Я напою воздухъ благоуханіемъ, я дамъ вамъ пріютъ въ тѣни листьевъ моихъ: я отдаю вамъ сердце мое и отдамъ жизнь, если понадобится. О, придите, придите подъ тѣнь мою!

Всѣ насѣкомыя поклонились ему и приняли ласковое предложеніе.

Та кочка, говорятъ, самая счастливая и благословенная кочка въ лѣсу.

А. Коваленская.

Маланьины стрѣлки.

I.

Былъ у одной старухи сынъ, по имени Ѳомка. Ѳомка былъ мужичекъ малорослый, тощій и самый, какъ говорится, безпрокій. Никакая работа ему не спорилась, потому что онъ не умѣлъ обойтись, какъ люди обходятся, а все дѣлалъ по-своему. Одёжа у Ѳомки была оборванная, избенка кривая, крыша дырявая, лошаденка хромая, и жилъ онъ одинъ со своею старухою матерью, безъ жены; потому что во всемъ околодкѣ не было такой дуры, которая бы согласилась пойти за него.

Вотъ какъ-то разъ, шелъ Ѳомка въ сумерки, между опушкой и полемъ; а было это около Ильина дня и наканунѣ была большая гроза. Идетъ онъ, и все ему слышится: громъ—не громъ, а такъ, будто гдѣ-то недалёко телѣга по бревнамъ проѣхала. И думаетъ онъ: „Гдѣ бы это могло быть? Кругомъ, на пять верстъ, нѣтъ ни плотины, ни моста; а гремитъ гдѣ-то недалёко...“ Чу! вотъ опять застучало! И на этотъ разъ, такъ уже близко, что Ѳомка остановился и началъ осматриваться. Глянулъ въ одну сторону—нѣтъ никого; глянулъ въ другую—видитъ: на самомъ краю опушки, кто-то стоитъ нагнувшись, словно какъ будто-бы ищетъ грибовъ. Сталъ онъ за нимъ приглядывать; видитъ: старикъ какой-то, сѣдой, безъ шапки, ростъ богатырскій, плечи широкія, лицо такое хмурое, грозное... стоитъ, наклонился, клюкой ковыряетъ что-то во мху; поковырялъ и, знать, не нашелъ ничего—пошелъ дальше; да какъ только пошелъ—и застучало опять.

„Хе хе!“ думаетъ себѣ Ѳомка.—„Вотъ оно гдѣ гремитъ-то!“—и дивно это ему показалось. Подошелъ ближе:

—Богъ помочь дѣдъ.

— Спаси Богъ.

— Что это ты стучишь?

— Такъ, это я про себя ворчу...—Отвернулся и, надо быть, что́ увидалъ на полу,—сталъ опять ковырять клюкой, поковырялъ, вытащилъ изъ земли какую-то стрѣлку и бросилъ въ мѣшокъ.

— Что́ это ты тутъ дѣлаешь?

— Такъ, ничего,—говоритъ;—свой товаръ подбираю.

— Какой товаръ?

— Да вотъ, дочка моя—Маланья*) вчера тутъ въ горѣлки играла, разбѣгалась, стрѣлки свои пораскидала. А

*) *Маланья*—молонья, молнія.

я не люблю этого баловства. Товаръ дорогой; почто его тратить даромъ? Хочешь стрѣлять, такъ стрѣляй толкомъ: выбери мѣсто, нацѣль хорошенько, да тогда и пали...

Слушаетъ Ѳомка, сейчасъ смекнулъ, въ чемъ дѣло и кто такой этотъ старикъ и о какой Маланьѣ онъ говорилъ.

—Слышь ты,—говоритъ,—тебѣ одному не справиться съ этой работой; всю ночь тутъ провозишься. А ты выучи-ка меня эти стрѣлки искать, такъ я тебѣ, дѣдушка, помогу.

Дѣдъ согласился; надоѣло ему ковырять одному; выучилъ мужика, по какимъ примѣтамъ отыскивать мѣсто, куды упала стрѣла, и какъ эту стрѣлу изъ земли выкапывать. И вотъ стали они искать вдвоемъ; искали, пока совсѣмъ не стемнѣло, и понабрали-таки порядкомъ. Какъ стало совсѣмъ темно, дѣдъ взялъ, покидалъ свой товаръ въ мѣшокъ и мѣшокъ завязалъ.

— Ну,—говоритъ,—спасибо тебѣ, любезный; будетъ съ меня и этого.—Загрохоталъ и ушелъ во-свояси.

А Ѳомка, какъ ни былъ плохъ, однако на этотъ разъ маху не далъ. Не захотѣлъ онъ уйти съ пустыми руками и изловчился, тайкомъ отъ дѣда, засунуть себѣ въ сапогъ съ полъ-дюжины... Зачѣмъ? онъ и самъ хорошенько не зналъ, но нраву онъ былъ пытливаго и всякое новое дѣло его занимало. „Дай,“ думаетъ,— „посмотрю: что это за стрѣлки такія?“ —Пришелъ домой, ни слова не говоря старухѣ, спряталъ свою находку на печь и завалился спать. Утро-де вечера мудренѣе.

II.

На другой день былъ праздникъ. Ѳомка проснулся чуть свѣтъ, взялъ съ собою стрѣлки и ушелъ въ лѣсъ.

Что́ онъ тамъ дѣлалъ—не знаю; только вернулся домой безъ одной стрѣлы, да въ придачу еще безъ пальца на лѣвой рукѣ.

— Что съ тобой?—спрашиваетъ старуха.

— Такъ, ничего... топоромъ отхватилъ.

Нѣсколько дней послѣ этого, онъ сидѣлъ смирно; но какъ только палецъ зажилъ, взялъ остальныя стрѣлки и пошелъ опять въ лѣсъ... Вернулся опять безъ одной, да въ придачу еще безъ глаза.

— Что съ тобой?—спрашиваетъ старуха.

— Такъ, ничего... на сукъ наткнулся.

Послѣ этого, онъ запряталъ Маланьины стрѣлки въ клѣть и долго до нихъ не дотрогивался; знать, поотбило охоту... Но вотъ, однажды, понадобилось ему зачѣмъ-то въ кузницу; а кузница была въ городѣ. Подходитъ онъ къ городу поздно вечеромъ, въ сумерки, и опять ему чудится: громъ не громъ, а такъ—что-то стучитъ... Глядь, впереди, недалёко, бредетъ тотъ самый старикъ, котораго онъ у лѣсу встрѣтилъ. Поровнялись они.

— Здравствуй, дѣдъ!

Тотъ смотритъ—не узнаётъ.

— А того мужика помнишь, который тебѣ помогалъ Маланьины стрѣлки выкапывать?

— А, это ты?... Ну, будь здоровъ, братецъ.

— Куда идешь, дѣдушка?

— Въ кузницу, братецъ.

— Пойдемъ-же вмѣстѣ, и мнѣ туда нужно.

Пришли они въ кузницу. Ѳомка сейчасъ свое дѣло справилъ, присѣлъ на завалинкѣ и сидитъ, дожидается... „Дай,“ думаетъ, „погляжу, зачѣмъ дѣдъ пришелъ?“

А дѣдъ кликнулъ къ себѣ кузнеца и спрашиваетъ:

— Ну что,—говоритъ,—кузнецъ, пущалку справилъ?

— Справилъ.

— Покажь-ка сюда?

Смотритъ Ѳомка: кузнецъ досталъ изъ-подъ лавки снарядъ какой-то диковинный и подаетъ дѣду. Дѣдъ поглядѣлъ.

— Хорошо,—говоритъ.

Сейчасъ заплатилъ кузнецу что́ слѣдуетъ, взялъ свой снарядъ и пошелъ.

Какъ только пошелъ, и Ѳомка пошелъ; увязался опять за нимъ, опять разговоръ заводитъ.

— Здорова-ли дочка?

— Ничего, слава Богу, живетъ.

— Много-ли стрѣлокъ пораскидала?

— Да, порастратила-таки порядкомъ.

Говорятъ они этакъ; а Ѳомка все на снарядъ поглядываетъ.

— Что́ это, дѣдушка,—говоритъ,—у тебя за штука такая?

— Пущалка, братецъ.

— На что́ это тебѣ?

— А это,—говоритъ,—для дочки моей, игрушка такая. Изъ этой пущалки она свои стрѣлки пущаетъ.

— А развѣ нельзя безъ этого?

— Нѣтъ,—говоритъ,—нельзя. Безъ этого либо палецъ тебѣ оторветъ, либо глаза выжжетъ.

Сказалъ это дѣдъ, а самъ усмѣхается, на Ѳомку поглядываетъ.

— Хе, хе, братъ! Да что́ это у тебя глазъ-то?

— Ничего,—отвѣчаетъ Ѳомка;—это я ночью на сукъ напоролъ.

— Вотъ какъ!... Хе, хе, да у тебя и пальца недостаетъ!... Куда дѣвалъ?

— Ничего, дѣдушка: это я въ хмѣлю топоромъ отхватилъ.

— Ну, братецъ, это тебѣ наука. Послушай ты моего совѣта: будь напередъ осторожнѣе.

Сказавъ это, дѣдъ загрохоталъ и пошелъ во-свояси.

А Ѳомка не промахъ, сейчасъ вернулся назадъ къ кузнецу и заказалъ для себя пущалку такую-же, какъ у дѣда.

— Не разсердился бы дѣдъ?—говоритъ кузнецъ.

— Э! ничего!—отвѣчаетъ Ѳомка.—Мы съ нимъ пріятели; самъ видѣлъ: вмѣстѣ пришли.

Черезъ недѣлю пущалка была готова, и Ѳомка ходилъ съ нею въ лѣсъ и вернулся на этотъ разъ безъ изъяну, веселый такой. Приходитъ къ матери.

— Прощай,—говоритъ,—матушка! Благослови ты меня въ путь далекій, на подвиги ратные, на поприща богатырскія... Землю пахать теперь не мое уже дѣло.

Какъ услыхала старуха эти слова, такъ и ахнула.

— Ѳомка! Да ты не съ ума-ли спятилъ?... Ты,—говоритъ,—посмотри на себя; ну, къ рожѣ-ли тебѣ подвиги ратные? Вѣдь, у тебя силёнки немногимъ побольше, чѣмъ у меня?... Да и кого ты, кривой богатырь, воевать собираешься?

— Не безпокойся, матушка,—говоритъ Ѳомка;—я ужь найду кого. А что до силы моей, то этой силы ни ты, да и никто на свѣтѣ еще не извѣдалъ. И никому неизвѣстно, гдѣ она у меня; а я знаю, гдѣ, и когда покажу, тогда и увидятъ.

Вечеромъ, въ этотъ день, Ѳомка ходилъ на то мѣсто, гдѣ онъ первый разъ дѣда встрѣтилъ, и вернулся домой съ какимъ-то пучкомъ. А на другой день, чуть свѣтъ,

осѣдлалъ хромую свою лошаденку, повѣсилъ пущалку черезъ плечо, простился съ матерью и уѣхалъ.

III.

Долго-ли ѣхалъ Ѳомка и далеко-ли уѣхалъ—не знаю; только вотъ—выѣзжаетъ онъ изъ лѣсу на зеленый лугъ и видитъ: стоятъ на лугу два шатра златоверхіе, у шатровъ богатырскіе кони пасутся. Слѣзъ онъ съ своей лошаденки и пустилъ ее тутъ-же траву щипать; а самъ прилегъ отдохнуть. Не долго прошло, изъ шатровъ выходятъ два старыхъ-престарыхъ богатыря; посмотрѣли на мужичка, усмѣхнулись и сѣли тутъ-же, неподалеку.

И говоритъ одинъ богатырь другому:

— Прошли,—говоритъ,—богатырскія времена, Ильюха! Что за народъ нынче на свѣтъ родится!... Посмотри-ка, вонъ: мужичонка какой!... Чтó твой комаръ. Взялъ его на ладонь, да прихлопнулъ—такъ только мокренько останется.

Рѣчь эта была обидна для Ѳомки, но онъ смолчалъ.

И говоритъ другой богатырь:

— А что,—говоритъ,—Алеша,—много ты этакихъ за одинъ пріемъ уберешь?

— Да какъ махну,—отвѣчаетъ тотъ,—такъ штукъ пятьдесятъ за разъ уберу.

Не вытерпѣлъ этого Ѳомка:

— Почто,—говоритъ,—вы, старые богатыри, меня, юнаго, обижаете? Вы силы моей не извѣдали, а если хотите извѣдать, то чѣмъ на словахъ похваляться, испытайте лучше меня на дѣлѣ.

— Хорошо,—говоритъ Алеша,—давай, кривой богатырь, силу пробовать.

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ Ѳомка.—Я на тебя, Алеша Поповичъ младъ, и на тебя, дѣдушка Илья Муромецъ, руки не подниму: потому не приходится дѣтямъ своихъ отцовъ колотить. А если хотите силу мою узнать, то возьмите меня съ собою на подвиги ратные, на поприща богатырскія. Пригожусь—сами спасибо скажете; а не пригожусь—наплюйте вы мнѣ въ лицо и прогоните.

Призадумались старые богатыри; смотрятъ на мужичка, дивятся: откуда у него такая прыть?

И вотъ, говоритъ Илья Муромецъ:

— А что,—говоритъ,—Алеша, возьмемъ ужь его съ собой, такъ и быть. Съ виду онъ точно что плоховатъ, да съ виду не всякаго разберешь.

— Хорошо,—говоритъ Алеша,—возьмемъ.

И положили они промежъ себя уговоръ: Ѳомкѣ ѣхать за старыми богатырями слѣдомъ и служить имъ покуда конюхомъ. А если дѣло какое встрѣтится, то пускать его въ дѣло перваго. Годенъ окажется—принять его нарѣченымъ братомъ и считать младшимъ богатыремъ; а негоденъ—прогнать.

Порѣшили на томъ и уѣхали.

IV.

Ѣдутъ богатыри на своихъ богатырскихъ коняхъ, а Ѳомка за ними, на своей хромой клячѣ—трюхъ, трюхъ... едва поспѣваетъ.

Подъѣзжаютъ они къ городу Угличу; а въ городѣ Угличѣ страхъ и смятеніе неописанное. Поселился въ дремучемъ лѣсу, у самаго города, басурманъ—шестиглавый змѣй и губитъ христіанскій народъ во множествѣ неисчислимомъ.

Какъ услыхали это богатыри, сейчасъ поѣхали въ лѣсъ, и, по слѣду змѣиному, отъискали его вертепъ. Глядятъ: изъ вертепа выходитъ чудище нечестивое о шести головахъ и каждая голова съ пивной котелъ.

— Ну, Ѳома,—говоритъ Илья Муромецъ,—вотъ тебѣ и работа. Коли жизнь не красна, смерть не страшна, то выходи ты, по уговору, первый супротивъ этого змѣя и ратуй его; а мы посмотримъ; если онъ станетъ одолѣвать, тогда сами примемся.

Но Ѳомка только того и боялся, чтобъ старики какъ-нибудь безъ него не покончили. Вышелъ онъ смѣло впередъ и сталъ заряжать свою пущалку; а змѣй-то, завидѣвъ его, кривого, кàкъ прыснетъ со смѣху:

— Пошелъ прочь!—говоритъ,—шутъ ты этакой! Не хочу я съ тобою и рукъ марать!

— Ну, ничего,—отвѣчалъ Ѳомка.—Я тебя, любезный, не задержу.

Сейчасъ прицѣлился да какъ грянетъ... Освѣтилось все мѣсто битвы; по лѣсу пошелъ гулъ раскатами и огненная стрѣла, ослѣпляя глаза яркимъ блескомъ, ударила въ змѣя. Только его и видѣли. Разорвало его, бѣднягу, всего на куски, и тѣ куски не то спалило, не то раскидало пó лѣсу.

Богатыри стоятъ, смотрятъ... понять не могутъ, чтó это такое было?... Смотрѣли, смотрѣли, пожали плечами, да и поѣхали прочь. Ѳомка за ними. И вотъ слышитъ онъ, богатыри говорятъ между собою тихонько.

— Ну, что, Ильюша?

— Да что, Алеша! я, братецъ, правду люблю говорить. Въ жизнь свою не случалось такъ чисто покончить дѣло!

И вернулись они въ городъ Угличь, гдѣ люди, узнавъ, кто одержалъ побѣду, не захотѣли и вѣрить старымъ богатырямъ; думали, что это они вдвоемъ убили змѣя, и

стрн. 186

только изъ милости уступаютъ Ѳомкѣ всю честь. А впрочемъ приняли всѣхъ троихъ съ великимъ почетомъ.

V.

Послѣ того назвали богатыри Ѳому своимъ меньшимъ братомъ и стали честить какъ ровнаго.

И ѣздили они долго, втроемъ, сперва по святой Руси, а потомъ и по разнымъ краямъ чужеземнымъ. И было у нихъ за это время работы не мало. Попадались имъ великаны и въ три сажени, и въ семь, и въ десять; и змѣи разнаго сорту, то о шести, то о двѣнадцати головахъ, а то и болѣе; и Эфіопскіе короли съ несмѣтными ратями, и Турецкіе, и Татарскіе, и Китайскіе витязи,—и противъ всѣхъ ихъ по уговору выходилъ Ѳома первый. Выйдетъ, живо дѣло все самъ покончитъ, а два старшіе богатыря поглядятъ, да, потупивъ голову, и поѣдутъ прочь.

И вотъ стали старые богатыри призадумываться. Видятъ: дѣла имъ никакого нѣтъ, всю работу Ѳомка себѣ забралъ; а и просить-то его, чтобы уступилъ, не смѣютъ, боятся, что стары ужь стали очень и, чего добраго, еще передъ нимъ, молодымъ, острамятся.

Стали они объ этомъ промежъ себя разговаривать. И вотъ, говоритъ Илья Муромецъ:

— А что, Алеша, вѣдь, дѣло-то наше дрянь! Состарились мы, да и время-то богатырское, знать, миновалось. Не нужны стали теперь богатыри. Съ этой пущалкою; что у Ѳомки, всякая баба выйдетъ противъ тебя и ничего ты съ ней не подѣлаешь.

— Да,—отвѣчаетъ Алеша Поповичъ младъ.—Я, братецъ Ильюха, и самъ такъ думаю. Довольно ужь мы съ

тобой покрутили міромъ. Пора и честь знать! Поѣдемъ-ка на покой.

И вотъ простились богатыри съ своимъ нареченымъ братомъ Ѳомою и уѣхали во-свояси.

А Ѳомка, тою порой, гостилъ во дворцѣ у какого-то короля заморскаго, и слава о немъ успѣла уже пройти по цѣлому свѣту.

VI.

Сидитъ Ѳомка у короля, въ его золотомъ чертогѣ; а король-то и говоритъ ему:

— Скажи,—говоритъ,—мнѣ, Ѳома, по правдѣ: отчего старые богатыри уѣхали?

И отвѣчаетъ ему Ѳома:

— Скажу я тебѣ, государь, по правдѣ: старые богатыри обижаются, что имъ возлѣ меня, молодого богатыря, совсѣмъ дѣлать нечего.

Выслушалъ это король, самъ глядитъ на Ѳому, усмѣхается.

— Послушай, Ѳома,—говоритъ,—вѣдь ты врешь?

— Нѣтъ,—говоритъ,—не вру.

— Нѣтъ, врешь. Меня, братецъ мой, не обманешь. Ты вотъ говоришь: „богатырь“; а если по правдѣ сказать, какой ты богатырь? Отъими у тебя пущалку да стрѣлы, такъ тебя всякій дворовый пѣтухъ загоняетъ.

Ѳомка обидѣлся.

— Нѣтъ,—говоритъ король,—ты этимъ, любезный, не обижайся. А ты мнѣ вотъ что́ скажи. Вѣдь, этакую пущалку, какъ у тебя, всякій кузнецъ можетъ сдѣлать?

— Да,—отвѣчаетъ Ѳома,—можетъ; а стрѣлы-то ты

откуда возьмешь? Безъ стрѣлъ, съ одною пущалкою ничего не подѣлаешь.

— А вотъ,—говоритъ король;—я къ тому и веду разговоръ. Ты, Ѳома, парень не глупый; самъ можешь понять, что славы твоей не убудетъ, если ты мнѣ откроешь: откуда ты эти стрѣлы берешь; и выучишь моихъ мастеровъ этому дѣлу стрѣлецкому. А если,—говоритъ,—ты это сдѣлаешь, то будетъ тебѣ отъ меня за это награда такая, о какой ты и не думаешь. Богатыремъ я не могу тебя сдѣлать, конечно, да мнѣ и не нужны богатыри; но сдѣлаю тебя генераломъ и отдамъ тебѣ все свое войско въ команду, и для этого войска мы закажемъ пущалки, и ты будешь его учить своему стрѣлецкому ремеслу. А когда ты все это выполнишь, тогда я отдамъ за тебя свою дочь и съ нею полцарства въ приданое.

Польстился Ѳома на такую великую честь и открылъ королю свое дѣло тайное, свое мастерство стрѣлецкое. И сдѣлалъ король его генераломъ, а старыхъ своихъ богатырей уволилъ въ-чистую. Не нужны стали они ему съ тѣхъ поръ, какъ все войско было вооружено пущалками и всякій солдатъ могъ сдѣлать тоже, что́ Ѳомка дѣлалъ. И сталъ Ѳомка знатнымъ бояриномъ, и сталъ король выдавать за него свою дочь, а за дочерью отводить полцарства въ приданое.

И вотъ ѣдетъ Ѳома съ королевскою дочерью подъ вѣнецъ. Ѣдутъ они въ золотыхъ колесницахъ. По дорогѣ войско стоитъ въ два ряда; народъ толпится, шапки бросаютъ къ верху, кричатъ: „ура!“ По всему городу праздникъ, въ колокола звонятъ... А по небу между тѣмъ поднимается черная туча. Остановилась она надъ самымъ вѣнчальнымъ поѣздомъ, да вдругъ ка̀къ шарахнетъ!... Разорвало ее, словно платокъ, на два куска, и

изъ прорѣхи вылетѣла царица Маланья во всей лучезарной своей красотѣ. Она была въ огненной колесницѣ, на вороныхъ коняхъ, и на темныхъ ризахъ ея свѣтилось кровавое зарево. Грозно глянула она на Ѳому:

— Стой! Ѳомка-воръ! Ты стрѣлы мои укралъ, ты тайны мои извѣдалъ и пò свѣту разгласилъ. Я тебѣ этого не прощу! Нá вотъ, отвѣдай-ка эту стрѣлку!...

Сказавъ это, царица взмахнула высоко бѣлой рукой и пустила въ него стрѣлу лучезарную...

Тяжелый громовой ударъ грянулъ надъ самою головою жениха. Кони его попáдали. Народъ столпился вокругъ его золотой колесницы... Глядятъ: а бѣдный кривой богатырь—лежитъ въ колесницѣ—мертвый.

Н. Ахшарумовъ.

Что́ говоритъ керосинъ въ горящей лампѣ.

Вечеръ. На столѣ горитъ лампа. Четырнадцатилѣтній мальчикъ, который не мало читалъ, сидитъ одинъ въ комнатѣ у стола надъ развернутою книгою; засмотрѣлся на лампу и задумался. Керосинъ, пожившій-таки на свѣтѣ не мало ранѣе, чѣмъ попалъ въ лампу, разсказалъ ему кое-что занимательное.

Давно, очень давно, одной частичкѣ солнечнаго свѣта очень захотѣлось попутешествовать; она давно уже была на солнцѣ и ей хотѣлось узнать, что́ дѣлается въ другихъ мѣстахъ. Однажды она отторглась отъ солнца и полетѣла съ непостижимою быстротою, скорѣе курьерскаго поѣзда желѣзной дороги, такъ скоро, какъ молнія; только слѣдъ ея означился солнечнымъ лучемъ. На пути свѣтъ встрѣтилъ землю. Тогда на землѣ еще не было людей, не было дѣтей, съ которыми солнечный лучъ могъ бы играть въ зеркальные зайчики или въ ручныя тѣни на стѣнѣ. Лишь плоскій островъ виднѣлся изъ моря; большіе

крокодилы и огромныя ящерицы ползали по немъ. Деревья простирали свои вѣтви къ небу, какъ руки. Листья тогда, какъ и теперь, жадно впивали свѣтъ, такъ жадно, какъ грудныя дѣти пьютъ матернее молоко.

Птицы въ томъ лѣсу еще не пѣли; въ немъ было смирно и тихо. Игръ бабочекъ тоже не было; не было еще ни одного распускающагося яркими красками цвѣтка. Солнечный свѣтъ усѣлся на зеленомъ листѣ дерева. Его клонило ко сну, и онъ улегся въ зеленомъ листкѣ, какъ дитя въ колыбелькѣ. Вѣтеръ укачивалъ его. Когда листъ завялъ и готовъ былъ отпасть, свѣтъ спрятался въ дерево и продолжалъ спать въ немъ, какъ твердость въ желѣзѣ.

Дерево состарилось и упало. Оно лежало въ сырой болотной почвѣ и отдыхало отъ своей работы. Его древесина обратилась въ черный камень, каменный уголь и домонитъ (богетъ). Постелька его была въ листьяхъ зеленая, въ деревѣ бурая, въ каменномъ углѣ блестяще-черная. Въ одной спалось также хорошо, какъ въ другой.

Волны морскія засыпали пескомъ, глиною и землею окаменѣлые стволы. Рыбы подъ ними рѣзво плавали. Раки ползали поверхъ. Морскія улитки садились на песокъ въ своихъ раковинахъ. Волны морскія замыли еще болѣе песку и глины поверхъ каменнаго угля и погребли его подъ высокими холмами.

Холмы медленно поднимались со дна моря и все болѣе и болѣе высились. Изъ каменнаго угля въ глубинѣ, отъ внутренняго жара земли, вытекла нефть, петролеумъ. Свѣтъ, бывшій солнечный лучъ, все еще лежитъ и дремлетъ, но уже въ жидкой нефти.

Такъ прошли вѣка. Наконецъ пришли люди—рудокопы: длиннымъ буравомъ просверлили въ горѣ дырку—

стрн. 192,

колодезь, и нефть по трубѣ побѣжала къ рабочимъ. Они наполнили ею сосуды, очистили ее, нагрузили на барки и корабли, и переслали водою къ намъ. Купецъ продалъ немного очищенной нефти мамашѣ, подъ названіемъ *керосина*. Эту нефть налили въ лампу. По свѣтильнѣ она поднялась до самой горѣлки. Зажженную спичку поднесли къ горѣлкѣ; она нагрѣла керосинъ. Свѣтъ, давно, давно спавшій, мгновенно проснулся—просвѣтлѣло! Солнечный лучъ высвободился изъ керосина и цѣлый длинный зимній вечеръ свѣтилъ въ комнатѣ. Онъ освѣщаетъ и эти строки и.....

— Володя! чтó такъ задумался? У тебя большой урокъ къ завтрашнему дню!—

Ю. Симашко.

Вавило.

(Подборъ народныхъ примѣтъ.)

Далъ мужику Пантелѣю съ женою его Настасьей Господь сынка. Нарекли мальчика Вавилой.

По всѣмъ примѣтамъ, Вавило долженъ былъ быть въ жизни счастливъ. Родился онъ съ родинкой на такомъ мѣстѣ, что самому ему видѣть ее никакъ нельзя было,— на спинѣ, а родинка на такомъ мѣстѣ къ добру. Притомъ же, Вавило и на мать походилъ, что́ также къ счастью.

Не надышутся, не налюбуются отецъ съ матерью на своего Вавилушку: одинъ только ребенокъ у нихъ и есть. Примѣты-то хорошія, а все какъ-то боязно: долго ли до грѣха? Пуще всего боялась Настасья, чтобы ребенка не сглазили, и потому, тотчасъ по рожденіи, надѣла ему на шею мѣшечекъ съ мыломъ. Чтобы онъ грозы не боялся и умѣлъ хорошо плавать (деревня на рѣкѣ стояла, и Пантелѣй занимался рыбачествомъ), она нарочно приберегала для сына хлѣбъ, пока не заплеснѣетъ, и этимъ плесневымъ хлѣбомъ кормила иногда Вавилу. Чуть случится

ребенку, играя на пескѣ, наступить на чужой слѣдъ, Настасья уже заботливо кричитъ ему: „Не ступай, родненькій, на чужой слѣдъ: ножки болѣть будутъ.“ Случись ребенку плюнуть направо, мать тотчасъ-же остановитъ его: „Не плюй направо: тамъ ангелъ-хранитель; плюй налѣво: тамъ дьяволъ.“ Всякій же разъ, когда Вавилушкѣ зѣвалось, Настасья спѣшила перекрестить сынку ротъ, чтобы его не перекосило. Она заботилась даже и о будущей жизни своего Вавилушки, и, чтобы ему было чѣмъ карабкаться въ царство небесное,—остригая ему ноготки, складывала и хранила обрѣзки; а когда онъ сталъ входить въ разумъ, отдала ихъ на храненіе самому Вавилѣ, строго-нá-строго наказывая, не потерять ихъ.

Принимала она свои мѣры и насчетъ лѣшаго: когда мальчикъ отправлялся въ лѣсъ за грибами, она заставляла его вывернуть на себѣ рубашку, чтобы лѣшій не обошелъ. О лѣшихъ, русалкахъ, бабѣ-ягѣ и домовыхъ Настасья разсказывала неустанно и охотно, и напугала мальчика до такой степени, что, бывало, въ сумерки, ребенокъ, то и дѣло, вздрагиваетъ, да озирается. Ничего, конечно, никогда не видалъ онъ; однако, матери вѣрилъ. Услышавъ отъ нея, что домоваго можно увидѣть въ свѣтлую заутреню, въ хлѣву, въ заднемъ углу, Вавило прокрался-было разъ, въ это время, на дворъ, но не смогъ осилить своего страха, да такъ, не провѣривъ разсказа, и вернулся опять въ избу. Внимательнѣе прежняго сталъ онъ слушать разсказы матери и распрашивать ее о томъ, каковы всѣ эти чудища, и откуда они берутся. Ну, ихъ наружность Настасья описала довольно подробно; а о происхожденіи ихъ могла сказать только одно: „Чортъ кремень о кремень ударилъ, и посыпались домовые, лѣшіе, русалки и бабы-яги.“

Бывали, однако, на возрастѣ Вавилы случаи, которые могли бы, кажись, поколебать его вѣру въ эти разсказы и примѣты. Случилось, напримѣръ, вотъ что. Когда Вавилушкѣ было уже лѣтъ эдакъ двѣнадцать, построилъ Пантелѣй себѣ новую избу. Подъ уголъ ея положили деньги для богатства, шерсть для тепла и ладонъ для святости. Для тепла же печь ставили въ самое полнолуніе. Чтобы обезопасить избу отъ клоповъ, Настасья положила въ нее, потихоньку, землю изъ-подъ первой весенней сохи, а чтобы сына не кусали блохи, при первомъ соловьѣ, скинула съ Вавилушки рубаху. Однако, не смотря на всѣ эти мѣры, богатства въ семьѣ не прибавилось, въ плохо-конопаченной избѣ тепло не держалось, а что до клоповъ и блохъ, то они въ первую же ночь жгли Вавилу, какъ крапивой. Таракановъ же, которыхъ Настасья не разъ переволакивала въ лаптѣ черезъ порогъ,—и въ старой избѣ, и въ новой было видимо-невидимо.

На другой годъ по переходѣ семьи въ новую избу, слышитъ разъ Настасья, что дворовый песъ, Волчокъ, такъ и воетъ, такъ и воетъ. Испугалась Настасья; но, зная отъ старыхъ людей, что въ этомъ случаѣ нужно перевернуть у себя подъ головой подушку, сказавъ: „Вой на свою голову“, тотчасъ же сдѣлала это. Однако Волчокъ не унялся. „Ну,“ думаетъ Настасья, „быть покойнику въ домѣ.“ Лѣзетъ на утро Настасья съ печи, а у самой сердце не на мѣстѣ. Все вой проклятый изъ ума не выходитъ. Лѣзетъ, да и задѣнь ногой за кирпичъ, который бы ужь давно надо было покрѣпче приладить къ печи. Отставшій кирпичъ и упалъ. А извѣстное дѣло: коли кирпичъ изъ печи выпадетъ, быть бѣдѣ. Еще пуще акручинилась Настасья, и стала припоминать, не было

ли еще у ней около того-же времени другихъ какихъ дурныхъ предвѣстій? Думала, думала, да и вспомнила, что на прошлой недѣлѣ къ хвосту ея любимой курицы, чернушки, соломина пристала, что́ прямо предвѣщало покойника. Бродитъ Настасья сама не своя, ждетъ бѣды. Однако проходитъ день, другой, ничего. Вотъ и страстная прошла, Настасья самый на себя строгій постъ наложила, цѣлую недѣлю не только мяса, да и рыбы не ѣла; одной рѣдькой да лукомъ питалась. Прошла страстная, пришла красная пасха. Настасья ободрилась. „Ну, думаетъ, коли бы что́ стряслось, такъ ужъ давно бы стряслось. Авось, такъ пройдетъ! Богъ грѣхамъ терпитъ.“ Разговѣлась Настасья; но разговѣлась, знать, ужь слишкомъ усердно. Подступило, подвалило подъ сердце, такъ, что Настасья слегла. Припомнились ей всѣ примѣты. „Смерть, говоритъ, моя пришла.“ Совсѣмъ умирать собралась; всѣ свои пожитки, кому что́ послѣ ея смерти отдать, распредѣлила. Анъ, вышло иначе. Пролежала Настасья деньковъ съ пятокъ, поохала, постонала, да и встала.

Въ другой разъ, въ четвергъ, день легкій, Пантелѣй съ другими рыбаками поѣхалъ на озеро рыбу ловить. Примѣты и встрѣчи все были хорошія. Лошадь такъ и фыркала къ радостной встрѣчѣ; въ ногѣ у Настасьи свербило — къ радостной вѣсти; Вавилушка поперхнулся и самъ себя оплевалъ,—къ обновѣ. Однако, не только уловъ вышелъ плохой; да еще самъ Пантелѣй поскользнулся съ берегу и упалъ въ воду. Ребята вытащили. Но дѣло было осенью; время холодное. Ѣхалъ Пантелѣй домой, ничего; а пріѣхалъ, да къ ночи и разнемогся. Бросаетъ его то въ ознобъ, то въ дрожь. Поила Настасья Пантелѣя виномъ, настоеннымъ на ракѣ, заговаривала и лихорадку: „Приходи, шепчетъ, Марья Иродовна, вчера.“ А Пante-

лѣю все хуже да хуже. Цѣлый день трясетъ его лихорадка. Обезсилѣлъ въ нѣсколько дней такъ, что ужь и повернуться не можетъ. Наконецъ сталъ терять память. Стоитъ Настасья надъ мужемъ да ломаетъ голову, чѣмъ бы ему, голубчику, пособить. Сказали ей люди добрые, что нужно больному отъ лихорадки черепъ лошадиный подъ изголовье положить. Побѣжала Настасья въ ближній лѣсъ, гдѣ намедни кости лошадиныя видѣла; да пока бѣгала за черепомъ-то, прибѣгаетъ домой, подходитъ къ больному, а онъ ужь и не узнаётъ ея. Въ обѣдъ другаго дня Пантелѣй Богу душу и отдалъ. Не помогъ даже ножъ, который Настасья положила на столъ, для острастки смерти. Хорошо еще, что не забыла, при кончинѣ мужа, поставить на окно воду, чтобы обмылась, вылетая изъ тѣла, мужнина душа, а на углу избы, снаружи, вывѣсить полотенце, чтобы душѣ было чѣмъ утереться.

Кажись, могъ бы Вавило понять изъ этихъ двухъ случаевъ, что примѣты ничего не предвѣщаютъ. Нѣтъ, хочется человѣку предвидѣть будущее; разгадать же не почему; вотъ и вѣрится ему въ примѣты. Хочется ему также имѣть будущее въ своей власти, и зачуривается онъ, и прибѣгаетъ къ разнымъ заговорамъ.

Пошли на семью Пантелѣя бѣды. За смертью хозяина стряслось и другое горе. Лѣто, послѣдовавшее за похоронами, стояло очень жаркое, и, почитай, цѣлый мѣсяцъ не было дождя. Ввечеру въ Ильинъ день разразилась надъ деревней гроза. Молнія ударила въ овинъ, что́ близъ крайней избы стоялъ, и зажгла его. Переполошилась вся деревня. Бѣгутъ и мужики, и бабы къ овину, кричатъ, суетятся безъ толку, а заливать и не думаютъ: „Божій огонь грѣшно гасить!“ Между тѣмъ поднялся вѣтеръ и перекинулъ огонь на ближайшую къ овину избу.

стрн. 199.

Тутъ ужь рѣшились и заливать. Но, думаютъ, пожаръ отъ молніи водой не зальешь. Вотъ, кричатъ, что пожаръ отъ грозы можно залить молокомъ черной коровы. Бѣгутъ на другой конецъ деревни: у мужика Прокла черная корова есть. Да на бѣду все молоко еще съ утра выпили: доить надо. Начали доить корову и перепугали ее крикомъ. Та вырвалась, выбѣжала со двора, увидѣла пламя, перепугалась еще пуще, и въ поле. Мужики за ней, ловятъ корову... Одинъ мужикъ между тѣмъ посовѣтывалъ гасить пожаръ квасомъ, пивомъ, молокомъ и яйцами.

— Самая,—кричитъ,—братцы, вѣрная вещь!

Тащатъ и пиво, и квасъ, и молоко, и яйца, валятъ все это въ огонь, а онъ все пуще разгорается. Кто-то бѣжитъ съ яйцомъ въ рукахъ:

— Пустите, братцы, черезъ пожаръ перекинуть, погаснетъ: я яйцомъ впервые у заутрени въ нонѣшнюю пасху похристосовался!

— Кидай,—кричатъ,—кидай!

Мужикъ кинулъ яйцо, но не перекинулъ черезъ пламя. Толпа вышла изъ себя, и осыпала мужика бранью.

— Лучше бы ужь не брался, коли не умѣешь,—кричатъ ему:—вотъ теперь не перекинулъ, хуже и разгорится!

И вправду, пламя, разносимое вѣтромъ,охв атило нѣсколько слѣдующихъ избъ, а наконецъ и избу Настасьи, которая до тѣхъ поръ оставалась довольно спокойной и почти не выбиралась, потому что подъ ея кровлей водились голуби, а подъ чьей избой голуби водятся, у того изба не сгоритъ. Пожаръ былъ, наконецъ, залитъ проливнымъ дождемъ. Настасья, съ сыномъ, поселилась у своихъ родичей, и, мыкая горе, не переставала упрекать себя въ

томъ, что не уложила всего добра своего передъ пожаромъ, тогда какъ видѣла, что за долго передъ Ильинымъ днемъ у нея нѣсколько таракановъ изъ избы ползли.

Такъ-то научился Вавилушко у матушки вѣрить всякимъ примѣтамъ да встрѣчамъ, да росказнямъ о чудищахъ и дивахъ. Выросъ онъ мужикомъ примѣтливымъ, не плоше отца съ матерью.

Возьмемъ на удачу одинъ денекъ изъ его жизни. Посмотримъ, какъ онъ его проводитъ. Проснулся утромъ Вавило и ощупалъ, что у него во время сна губа вспухла. „По мѣсту, думаетъ, добрый знакъ: въ губу благая муха кусаетъ.“ Но тутъ-же въ ногахъ кошку ощупалъ, и осерчалъ. „Брысь, проклятая, брысь! Ишь, куда забралась! Теперь поспалъ съ кошкой, лягушки еще въ головѣ заведутся.“ Кошка, спрыгнувшая между тѣмъ съ печи, какъ-будто въ отвѣтъ на его слова, чихнула. Вавило, какъ ни серчаетъ на нее, а все-таки ей на чихъ „здравствуй“ говоритъ, чтобы голова не болѣла. Но время вставать; обуваться надо. Хотѣлъ-было лѣвую ногу прежде правой обуть, чтобы зубы не болѣли, да вспомнилъ слышанное наканунѣ отъ пономаря, что лѣвую ногу прежде правой обувать грѣхъ, и рѣшилъ: „Пусть лучше зубы болятъ, чѣмъ грѣхъ сотворить.“ Обулся, слѣзъ съ печи правою ногою, чтобы не встать лѣвой и себѣ дня не испортить. Одѣваться началъ: „Тьфу, ты пропасть: порты наизнанку одѣлъ! быть сегодня либо пьянымъ, либо битымъ.“ Умылся, вытерся полотенцемъ, которымъ только одинъ и утирался, чтобы съ кѣмъ-нибудь на томъ свѣтѣ не раздраться, помолился Богу, сѣлъ къ столу, поѣлъ и раздумываетъ. „Какой бы сегодня день былъ? не то понедѣльникъ, не то вторникъ. Коли вторникъ можно рыбу ловить,—день легкій, а коли понедѣльникъ—тяжелый:

нельзя.“ Однако, выходитъ вторникъ; значитъ, можно рыбу ловить; отъѣзжать только въ дорогу по вторникамъ никакъ нельзя. А ему нужно было въ городъ на продажу рыбу везти. „Ну, думаетъ, дѣлать нечего, завтра свезу; а сегодня пойду на рѣку рыбу удить.“ Потянулся Вавило еще разъ, зѣвнулъ, перекрестилъ ротъ, какъ мать учила, и собрался молочка попить. Смотритъ, муха въ молоко попала. „Ничего, думаетъ: муха къ подарку.“ Поперхнулся какъ-то хлѣбомъ. „Тоже, думаетъ, ничего: гость спѣшитъ; милости просимъ.“ Выпилъ молоко, закусилъ корочкой хлѣба, для счастья, закрылъ кринку лучинкой, чтобы въ нее бѣсъ не засѣлъ, и сталъ собираться на рѣку. Въ это время у него въ носу засвербѣло, а потомъ зачесался и носъ, и глазъ правый. Повеселѣло на сердцѣ у Вавилы. „Ну, говоритъ себѣ, добрыя у меня сегодня примѣты. Глазъ правый чешется—къ радости, носъ—въ рюмку глядѣть...“

Вотъ, выходитъ Вавило на дворъ, веселый такой,—сейчасъ видно, что правой ногой всталъ,—обошелъ лежавшее у избы помело, чтобы судороги не потянули, и вышелъ за ворота. А навстрѣчу ему дѣвка съ пустыми ведрами: съ полными бы ничего—къ добру; а съ пустыми—къ худу. Вавило смутился, но идетъ дальше. Только на ходу заглянулъ въ окно; видитъ, бабы прядутъ. „Ну ужь теперь ворочусь: коли увидишь въ окно, что бабы прядутъ, всегда воротиться надобно. Бѣсъ его знаетъ, что еще на дорогѣ будетъ: и хорошія сегодня примѣты да встрѣчи, и худыя.“ Идетъ назадъ и вспоминаетъ, что не всѣ уды съ собой захватилъ. „Вотъ, оно, думаетъ, и хорошо, что воротился: и тѣ уды съ собой захвачу.“ Приходитъ опять въ избу, ищетъ, ищетъ удочекъ; сгинули, да и только, а тутъ въ избѣ были. Ва-

вило поискалъ, поискалъ и рѣшился перевязать чорту бороду, для чего нужно завить ножку стола платкомъ, говоря: „Чортъ, чортъ, поиграй, да опять отдай.“ Только что перевязалъ, глядь, а поплавки висятъ тутъ-же, гдѣ онъ ихъ вчера повѣсилъ, у печи въ углу. „Вотъ, вѣдь, нечисть какая,—говоритъ Вавило,—играть тоже вздумала!“ и вышелъ снова на улицу. На этотъ разъ встрѣча была добрая: та-же дѣвка возвращалась съ полными ведрами. Конечно, Вавило въ окно больше не заглядывалъ, и потому не видѣлъ прявшихъ бабъ. Повеселѣлъ Вавило и, замѣтя, что у прошедшей мимо дѣвки подолъ въ грязи, даже шутливо закричалъ ей, что у нея мужъ будетъ пьяница. Придя къ рѣкѣ, онъ увидѣлъ у товарищей уже большой уловъ раковъ, что́ предвѣщало хорошій уловъ рыбы. Вавило просіялъ и привязалъ свои удочки. Закинулъ вдвоемъ неводъ; но неводъ принесъ только ерша. А ершъ въ первомъ заловѣ къ неудачному промыслу. Запечалился Вавило, забрасываетъ въ другой разъ; опять мелкая рыба попалась, и той немного. Чего, чего не дѣлалъ Вавило! И молитвы-то читалъ, и всячески старался на неводъ не ступать и не плевать; поднялся давеко по рѣкѣ, съ другими рыбаками. Нѣтъ, во весь день наловилъ рыбы самую малость. Идетъ Вавило домой, повѣся голову; сѣлъ ужинать. Опять бѣда: приходится починать новый хлѣбъ, а солнце ужь зашло: почнешь хлѣбъ на закатѣ, обнищаешь. И потому, собравъ, какія были, старыя корки, пріѣлъ ихъ. Затѣмъ наскоро подмелъ на ночь избу, чтобы ангеламъ было чище прохаживаться, Вавило легъ спать. Но долго еще обдумывалъ онъ сегодняшнія примѣты, и окончательно убѣдился, что въ этотъ день ему, дураку, вовсе не слѣдовало ловить рыбу, а могъ бы онъ хоть невода̀ чинить.

Не въ домекъ Вавилѣ, что какую бы примѣту ни выдумать, всегда найдутся случаи, въ которыхъ она оправдается, а запоминая ихъ и забывая другіе случаи, въ которыхъ примѣта не оправдается, непремѣнно найдешь ее самою что ни на есть вѣрною.

В. Острогорскій.

Волкъ.

олодно волку, бродягѣ сѣрому, голодно.

Гудитъ-завываетъ вѣтеръ по лѣсу, замело снѣгомъ проѣзжія дороги, засыпало тропы пѣшеходныя, толстою корою льда затянуло воды рѣкъ и озеръ. Загнали морозъ и вьюги все живое доброе по крытымъ дворамъ уютнымъ, по избамъ теплымъ.

Бродитъ одинокій на волѣ, безъ крова и пріюта, только сѣрый волкъ исхудалый. Черезъ чащи лѣсныя заиндевѣвшія, черезъ поля и луга опустѣлые, изъ конца въ конецъ гоняетъ его голодъ лютый, неотвязчивый.

Коротокъ зимній день, долга морозная, зимняя ночь... и ни днемъ, ни ночью нѣтъ покоя отощалому бродягѣ. Гнететъ его одна забота, единое только помышленіе: чѣмъ бы раздобыться съѣстнымъ, чтобы хоть чуточку перехватить на голодные зубы, чтобы унять эту злую, болѣзненную рѣзь въ пустомъ желудкѣ, дотянуть, дожить кое-какъ до весны, до времени теплаго.

Бродитъ волкъ по снѣжнымъ сугробамъ, гдѣ шажкомъ, гдѣ рысцею, гдѣ въ припрыжку, да зубами пощелкиваетъ... Нѣтъ ему нигдѣ воровской поживы, нѣтъ нигдѣ куска хозяйскаго, для него припасенаго.

Медвѣдь, „старшой" въ лѣсу звѣрь,—тотъ, небось, отъѣлся за лѣто, залегъ въ берлогу теплую и спитъ; зима ему не въ тягость, а въ отдохновеніе. Завела себѣ и лисица хитрая норку уютную... Кроты, сурки, суслики—вся эта мелочь полевая, всѣ по домамъ устроились и съѣстнымъ запаслись; заяцъ, на что дурачекъ, а и тотъ живетъ зиму припѣваючи: бѣгаетъ себѣ въ теплой шубенкѣ, да молодыя вѣточки огладываетъ. Одному волку не сладко живется зимою, на его только долю выпали всѣ напасти, всѣ бѣды времени зимняго.

И не найдется, знаетъ онъ, ни одной души доброй—кто бы пожалѣлъ его, кто бы протянулъ руку помощи, ужь очень онъ всѣмъ досадить успѣлъ; некому, да и не за что, добромъ помянуть его, разбойника.

Вотъ ему теперь „овечьи слезки и отливаются".

. . . . . .

Выбрался волкъ на опушку лѣсную, перебѣжалъ открытый пригорокъ, въ лощинку спустился, боязливо на свой собственный слѣдъ озирается, хвостъ поджалъ, словно кто на него сзади дубиною замахнулся; шерсть волчья клочьями щетинится, глаза горятъ огнемъ лихорадочнымъ...

Тамъ, на выходѣ, по косогору, за березовою рощицею чернѣются избы деревенскія; огоньки въ окнахъ въ сумеркахъ свѣтятся; корова, слышно, мычитъ въ хлѣву; овцы блеятъ въ тепломъ загонѣ; бабы у колодца заспорили, ссорятся; мужикъ топоромъ звонко постукиваетъ, сани налаживаетъ... Не спитъ еще деревня,—знать, рано!

Ждетъ—не дождется волкъ часу ночнаго, поздняго, когда угомонится народъ, завалится спать на печахъ да на лавкахъ; не забудетъ ли кто, оплошный, калитку гдѣ незапертую, подворотню неприваленную, не выбѣжитъ ли самъ собою теленочекъ глупый или другая какая-нибудь домашняя скотинка мелкая... Можетъ быть, пошлетъ Богъ, ему эту ночь посчастливится?

Ждетъ часъ, ждетъ другой, ждетъ терпѣливо, залегши въ сугробъ, и чутко прислушивается.

Вотъ и ночь желанная наступила. Крѣпнетъ морозъ, искрится снѣжное поле при лунномъ свѣтѣ, потухли въ окнахъ огни... Тихо кругомъ, безлюдно...

Тронулся волкъ съ мѣста и пошелъ въ обходъ, гдѣ что́ плохо лежитъ выглядывать... Только добѣжалъ до выгона—завыли по дворамъ псы деревенскіе, чуютъ гостя недобраго... „Валетки,“ „куцые,“ „Шарики,“ „Жучки“—всѣ на разные голоса заливаются: „не подходи, молъ, близко, хозяина съ дубиною вызовемъ.“

Тревожитъ, томитъ волка голоднаго это вытьё,—не по сердцу оно ему, какъ вору трещотка сторожа; злость разбираетъ, зубы острые дробь выколачиваютъ—эхъ-бы попалась ему теперь какая-нибудь собаченка досадливая, изъ-подъ воротъ бы, сюда, на просторное мѣсто выскочила, не побрезговалъ бы и собачьимъ мясомъ, за одинъ разъ и злобу-то свою, и утробу насытилъ-бы.

Хитры псы, сторожа деревенскіе, бывалые!

Ходитъ, бродитъ волкъ всю ночь по-пусту, ходитъ, бродитъ да зубами пощелкиваетъ.

Рано, до свѣту поднимается людъ деревенскій да за работу принимается. Уходить надо волку опять въ лѣсную трущобу по-добру, по-здорову... А голодъ пуще томитъ, словно ножами рѣжетъ волчьи внутренности... Отощалъ, обезсилѣлъ бѣдняга, въ глазахъ круги пошли зеленые, еле-еле ноги переступаютъ, бредетъ-спотыкается, да на ходу снѣгъ подхватываетъ воспаленною пастью.

Забрелъ въ кочкорнякъ, въ мѣсто глухое, завалился... заплакалъ бы, еслибы могъ, съ горя, да слезъ нѣту... Лежитъ, отъ холода ежится и думу думаетъ горькую:

„Тяжела моя жизнь бродячая, воровская, волчья! всему свѣту постылый, всякому врагъ заклятый, нѣтъ мнѣ за то ни покоя, ни радости... Помогъ бы только Господь до весны прожить—пойду свои грѣхи замаливать. Не трону никого — ни зубкомъ, ни коготкомъ, — ни овечки не трону, ни теленочка, ребенка малаго не обижу... Постъ на себя наложу, глазомъ искоса не взгляну на мясное... Нѣтъ, баста! плохо, неприглядно житье съ воровскою повадкою!...“

Чу!... Полозъ скрипитъ санный, колечко у дуги побрякиваетъ, лошаденка бѣжитъ бойко, чуетъ, знать, волка, ушами прядетъ, пофыркиваетъ.

Въ саняхъ баба сидитъ, съ головою тулупомъ покрывшись, дремлетъ, кобылкою не правитъ, сама, молъ, дорогу знаетъ до дому. За санями жеребеночекъ попрыгиваетъ маленькій, отъ матки отсталъ, звонко ржетъ,—и въ морозномъ утреннемъ воздухѣ колокольчикомъ его ржаніе разносится.

Откуда сила взялась у волка отощалаго, забылъ и свое горькое покаяніе, вылетѣлъ стрѣлою на дорогу, впередъ забѣжалъ и припалъ въ кустахъ, выжидаючи.

„Бабу-то не трону“, смекаетъ про себя разбойникъ,— „ну ее! пожалуй, еще топоръ у ней припасенъ въ саняхъ; а вотъ этого отсталаго прыгунца попробую. То-то, думаю, онъ вкусный, кормленный!...“

Н. Каразинъ.

Сказка о пчелѣ Мохнаткѣ.

I.

О томъ, какъ Мохнатка на свѣтъ Божій вышла.

въ саду—пчельникъ, въ пчельникѣ — улья, въ ульяхъ — соты, въ сотахъ—ячейки, въ ячейкахъ — или медъ или крошечныя бѣлыя яички; а въ яичкахъ?—Въ яичкахъ пчелиная *дѣтва*, будущія пчелы. Лежатъ онѣ тамъ, какъ въ колыбелькѣ, тепло и мягко, спятъ крѣпко, крѣпко, не шелохнутся. Но вотъ очнулась одна малютка, зашевелилась; скорлупка яичная вкругъ нея лопнула, распалась. И что́ же было тамъ?—Была не настоящая еще пчела, а *личинка*, маленькій бѣлый червячекъ

съ кольчатымъ тѣломъ и роговой головкой. Только высунулась личинка изъ колыбельки,—взрослая пчела-няня ужь тутъ какъ тутъ, нажевала нѣжной, медовой жижи и капаетъ хоботкомъ въ ротъ личинкѣ. Глотаетъ личинка и ростетъ, и крѣпнетъ. Прошла недѣля—и пора ей *куколкой* стать, *окуклиться*. Выпустила она изъ нижней губы паутинку и давай обвивать вокругъ себя. Глядь — совсѣмъ завернулась, что́ въ одѣяльце, и не видать вовсе.

— Ишь, плутовка! въ *коконъ* завернулась, баиньки опять захотѣлось?—сказала пчела-няня.—Ну, ладно, спи на здоровье; да чтобы никто не мѣшалъ, пожалуй, еще сверху крышкой накроемъ.

Взяла воску, да и замазала ячейку. И спитъ куколка подъ восковою крышкой; спятъ рядомъ въ другихъ ячейкахъ другія куколки, которыхъ ихъ няни такими-же крышками накрыли.

Проходитъ опять недѣля, проходитъ другая. Вдругъ—стукъ-стукъ! Кто тамъ стучится, кто скребетъ?—А первая куколка послѣ долгаго сна первая же проснулась и вонъ хочетъ. Только она теперь уже не куколка, а настоящей пчелой стала, съ глазами и хоботкомъ, съ ножками и крыльями. Прокусила кусальцами крышку надъ собою, просунула вверхъ переднія ножки, уперлась задними въ дно ячейки—и выползла вонъ.

— А, здравствуй, милая! какъ спала?—сказала ей пчела-няня.—Да какая же ты мохнатая! Ну, значитъ, такъ тебѣ и быть *Мохнаткой*.

А маленькая пчелка была немногимъ развѣ мохнатѣе

другихъ; мы, люди, пожалуй, ее отъ другихъ бы и не отличили; но пчелы другъ друга сейчасъ въ лицо узнáютъ. Такъ за молодою пчелкой имя *Мохнатка* на всегда и осталось.

Первымъ дѣломъ пчела-няня ее по-своему, по-пчелиному обмыла и причесала, т. е. попросту облизала и обдёрнула кругомъ; потомъ повела къ медовому горшку и накормила золотистымъ медомъ. Когда-же Мохнатка накушалась всласть, и все тѣльце ея, и ножки, и крылья оттого окрѣпли,—пчела-няня вывела ея къ выходу улья, на летокъ. Солнце такъ ярко брызнуло въ глаза Мохнаткѣ, что она съ непривычки зажмурилась. Но потомъ, какъ приглядѣлась, даже пискнула отъ радости. Первый разъ въ жизни вѣдь видѣла она теперь и славную зелень кругомъ, и вверху чистое голубое небо. И было ей такъ тепло на солнышкѣ, и въ воздухѣ отъ деревъ и травъ пахло такимъ сладкимъ духомъ...

— Ишь, разнѣжилась! — сказала пчела-няня. — Что, небось, хорошо на свѣтѣ-то Божьемъ, а?

— Чудно!... Ай, да кто-же это?

Мохнатка страшно испугалась. Мимо шла какая-то двуногая громада. Пчела-няня весело разсмѣялась.

— Кого испугалась!—сказала она.—Да вѣдь это нашъ лучшій другъ: хозяинъ нашъ, старикъ-пчелякъ. Онъ и улей-то намъ построилъ, онъ и на зиму насъ, пчелъ, отъ холода въ погребъ укроетъ. Правда, къ осени немножко обидитъ: выкуритъ изъ улья дымомъ, да добрую половину сотъ себѣ вырѣжетъ. Но надо же и ему чѣмъ-нибудь поживиться: онъ трудится для насъ, мы для него. Его-то чтó бояться! Но есть у насъ, пчелъ, много настоящихъ враговъ... Поживешь—узнáешь; теперь же пока надо тебѣ еще свой домъ родной узнать. Пойдемъ, покажу.

И повела она Мохнатку по улью.

II.

О томъ, что́ увидѣла Мохнатка въ ульѣ.

Чего-чего не наглядѣлась Мохнатка въ ульѣ! Улей вѣдь все равно, что́ городъ: кругомъ деревянныя стѣнки улья—городская стѣна; внутри—точно улица за улицей, домикъ у домика—ячейка у ячейки, всѣ шестигранныя и всѣ изъ чистаго воску. Только внутри ячеекъ не одно и тоже: въ серединѣ улья, гдѣ потеплѣе,—дѣтская съ колыбельками и дѣтвой; по сторонамъ же до самой крыши—магазины да кладовыя съ собраннымъ медомъ. А ужь народу-то, народу пчелинаго вездѣ сколько толчется—и не проберешься! Въ дѣтской надъ колыбельками ходятъ взадъ да впередъ пчелы-*няни*, кормятъ-холятъ молодую дѣтву. Въ нижнемъ, еще недостроенномъ кварталѣ работаютъ пчелы-*плотники*. Наѣдятся до-сыта меду и цвѣтня, влѣзутъ подъ потолокъ улья и, схватясь за ножки, висятъ цѣлыми гирляндами головой внизъ. Провиситъ пчела сутки—пропотѣетъ, да не по́томъ, а чистымъ, прозрачнымъ воскомъ,—и бѣжитъ къ недостроенному соту, отцѣпитъ съ себя лапкой восковой листочекъ, сунетъ въ ротъ, пережуетъ въ комочекъ и прилѣпитъ куда нужно. Прибѣжитъ за нею другая пчела-плотникъ, прибѣжитъ третья, и десятая, и сотая, дѣлаютъ тоже, — и ростетъ ячейка за ячейкой, и всѣ на одинъ ладъ, одна какъ другая. Вотъ такъ мастерицы! И безъ архитектора выстроятъ себѣ домъ на славу!—Межъ тѣмъ другія пчелы, *сборщицы*, побывали уже въ полѣ на цвѣтахъ, за провизіей и наполняютъ пустыя ячейки сладкимъ медомъ; а плотники тутъ-же ихъ запечатываютъ воскомъ, чтобы дорогіе запасы

не скисли. Куда не оглянись — работа такъ и кипитъ. Мохнаткѣ даже стыдно стало.

— Всѣ-то трудятся; я одна безъ дѣла... — сказала она.

— Поспѣешь,—утѣшила ее пчела-няня.— Впрочемъ, есть у насъ и бѣлоручки, *трутнями* называются. Иди-ка за мной. Только чуръ, тише; народъ-то они важный, спѣсивый, шутить не любятъ.

Онѣ повернули въ новый кварталъ съ пустыми еще ячейками для будущей дѣтвы. Не прошли онѣ, однако, и пяти шаговъ, какъ попалась имъ на встрѣчу кучка трутней, длиннокрылыхъ, толстопузыхъ, и одинъ пресердито, густымъ басомъ, напустился на нихъ:—Вы куда! чего вамъ здѣсь нужно?

Не только Мохнатка, даже пчела-няня какъ-будто слегка оробѣла.

— Да мы только такъ...—сказала она.—Нельзя-ли намъ, сударь, хоть глазкомъ однимъ на матушку-царицу взглянуть?

— Нельзя!—рѣшительно и строго прожужжалъ трутень.

— Сдѣлайте, ваше сіятельство, такую милость...

— Сказано: нельзя! Царица-матка теперь дѣломъ занята: яйца кладетъ. Шутка сказать: тысячи двѣ яицъ въ день! Чего стоите? Ну, пошли вонъ!

Няня вздохнула и дёрнула Мохнатку за крыло.

— Нечего дѣлать,—сказала она,—пойдемъ!

На счастье ихъ царица-матка покончила только-что съ своимъ труднымъ дѣломъ: наклала двѣ тысячи яицъ, да еще десятокъ въ придачу. Изъ боковаго переулка раздался чудно-звонкій голосъ; трутни засуетились и загудѣли хоромъ: „Ура!“ Въ ту-же минуту выплыла изъ переулка

сама царица-матка. У Мохнатки даже дыханье спёрло. Царица была вдвое больше ростомъ противъ рабочихъ пчелъ; но въ то-же время она была стройна необычайно и царственно-величава.

Она милостиво кивнула нянѣ и Мохнаткѣ и скрылась во внутреннихъ покояхъ.

— Ужь подлинно царица!—сказала въ восхищеньи няня.—На нее хоть съ утра до вечера работай—не устанешь.

— Ахъ, да!—сказала Мохнатка, которая только теперь пришла въ себя.—Но что́ же я буду работать?

— Работа найдется,—сказала пчела-няня.—Въ полѣ летать тебѣ, дитя мое, еще рано. Но вотъ дѣтокъ кормить или соты строить тебѣ подъ силу. Выбирай, что́ лучше хочешь?

— Дѣточекъ кормить! Вѣдь, это все равно, что въ куклы играть?

И пошли онѣ вмѣстѣ въ дѣтскую, и стала Мохнатка скоро няней—не хуже своей собственной няни.

III.

О томъ, какъ Мохнатка въ сборщицы попала.

Прошло уже нѣсколько дней, а Мохнатка такъ прилежно ходила въ дѣтской за молодою дѣтвой, что ни разу даже на летокъ прогуляться не вышла.

— Ты этакъ совсѣмъ изморишься,—сказала ей ея прежняя няня.—Пойди, погуляй, да и крылышки свои испробуй.

— Да я-же не умѣю еще летать?—сказала Мохнатка.

— Попытка не пытка; научиться же разъ надо.

— А если упаду?

— Такъ встанешь; да и не упадешь.

Мохнатка вышла на летокъ и замахала крыльями. Сама не зная какъ, она вдругъ поднялась на воздухъ. „Ай, упаду!“ Да нѣтъ, ничего, крылышки держатъ; только страшно какъ-то. Въ это время ее окликнула старая пчела-сборщица, пролетавшая мимо.

— Ишь ты, медвѣженокъ лохматый!—сказала старая пчела.—Чтó ты тутъ дѣлаешь?

— Гуляю,—отвѣчала Мохнатка.

— Гуляешь? скажите, пожалуйста! Когда другія сёстры изъ силъ выбиваются, она гулять изволитъ, такая крѣпкая, здоровая, да еще съ такимъ славнымъ густымъ мѣхомъ, къ которому всякая цвѣточная пылинка сама собой пристанетъ! Ай, ай! Да тебѣ на роду написано сборщицей быть. Такъ и быть, возьму въ науку. Лети за мной, живо, живо!

Хоть старая пчела какъ-будто и бранилась, но она похвалила густой мѣхъ Мохнатки, и даже взялась учить

ее: значитъ, та все-же понравилась-таки ей. А ужь какъ сама-то обрадовалась Мохнатка—и сказать нельзя. Въ старшій классъ—въ сборщицы попала!

Старая пчела полетѣла впередъ такъ скоро, что Мохнатка чуть вслѣдъ поспѣвала. Но вотъ онѣ прилетѣли

на сѣнокосный лугъ, на которомъ цвѣли всевозможные цвѣточки: лиловые и алые, желтые и бѣлые.

— Стой! прилетѣли!—прожужжала старая пчела, сѣла на душистый цвѣтокъ и вползла въ вѣнчикъ цвѣтка. Мохнатка—за нею.—Вотъ тутъ на днѣ медъ, видишь-ли?—сказала старая пчела.—Лижи язычкомъ; только чуръ—не глотай, а въ зобъ собирай. Вотъ такъ, смотри.

И, слизнувъ капельку меду, она передними лапками ее въ зобикъ себѣ толкнула. Мохнатка сдѣлала то-же.

— Молодцомъ!—похвалила ее старая пчела.—Но надо намъ и простаго хлѣба—цвѣтня съ собой захватить. Чтобы лучше приставалъ, вымажемся.

И, взявъ остатокъ меда, она вымазала имъ заднія лапки сперва себѣ, а потомъ и Мохнаткѣ.

— Ты хоть и мохната,—сказала она,—а къ меду все лучше пристанетъ. Ну, теперь полѣзай за мной, да дѣлай опять то-же, что̀ я.

Она вылѣзла изъ вѣнчика къ желтымъ пыльникамъ цвѣтка и стала продираться между ними. При этомъ она такъ ловко стряхивала съ пыльниковъ передними лапками цвѣтень на заднія лапки, вымазанныя медомъ, что всякая пылинка приставала къ нимъ. Мохнатка дѣлала то-же. Вдругъ какъ взглянетъ на старую пчелу, какъ оглядитъ себя—такъ и покатилась со смѣху: обѣ онѣ были точно въ желтыхъ бархатныхъ штанишкахъ!

— Развѣ не красиво?—сказала старая пчела.—Да долетишь ли ты до̀ дому въ такихъ толстыхъ панталонахъ?

— Долечу!—сказала Мохнатка—и полетѣла. Тяжело-таки было ей съ непривычки, тяжеленько; да ничего, долетѣла до роднаго улья.

Только спустилась на летокъ, какъ накинулись на нее отдыхавшія тутъ-же няни и плотники и да-

вай сдирать и пожирать ея нарядные бархатные штанишки.

— Караулъ! грабятъ!—запищала Мохнатка.—Всѣ мои штанишки съѣдятъ!

— Ничего, пускай ихъ: проголодались,—сказала старая пчела.—Теперь-ли наѣдятся, послѣ-ли—все равно. Ну, будетъ съ васъ, обжоры, отвяжитесь! Пойдемъ теперь, дитя мое, медъ сбыть.

И, пройдя въ ближнюю кладовую, онѣ выпустили весь собранный ими медъ въ стоявшіе тамъ еще пустые восковые горшки.

Такъ-то вотъ Мохнатка сборщицею стала. Трудна была ея работа, правда; но зато какъ славно было и отдыхать послѣ дѣла! Подъ вечеръ, пошабашивъ, она съ другими работницами гуляла на леткѣ, какъ на бульварѣ; ходятъ онѣ, и покачиваются, и потряхиваются, и жужжатъ безъ умолку, и не могутъ нажужжаться обо всемъ, что видѣли день-денской на бѣломъ свѣтѣ.

IV.

О томъ, какъ роился улей.

Каждый день клала матушка-цирица по тысячѣ, по двѣ яицъ, и изъ всѣхъ-то, одна за одной, выползали молодыя пчелки. Тѣсно стало вдругъ всѣмъ имъ въ одномъ ульѣ: надо было раздѣлиться на двѣ семьи, на два роя, надо было *отроиться*. И вотъ въ одномъ углу улья раздалось робкое кваканье: „ква-ква-ква!“ Въ отвѣтъ съ другаго конца пронеслось сердитое тюканье: „тю-тю-тю!“ Всѣ пчелы бросили работу, заметались, замѣшались; весь улей затрубилъ, загудѣлъ. Но сквозь этотъ шумъ и гамъ

явственно слышалось по-прежнему съ одного конца кваканье, съ другаго тюканье. Чтó-жь это такое было?— А вотъ чтó. Квакала изъ своей колыбельки молодая, вновь народившаяся матка: и хотѣлось-то ей выдти оттуда, и не смѣла она носу показать; тюкала же старая матка: очень ужь ей досадно было, что молоденькая царевна ея мѣсто занять хочетъ: вмѣстѣ двѣ матки въ одномъ ульѣ вѣдь никакъ не уживутся; которой-нибудь надо уйти.

— Пустите меня къ ней, пустите!—тюкала внѣ себя старая матка.—Вотъ я ее проучу!

Но трутни и рабочія пчелы загородили ей дорогу.— Ради Бога, ваше величество, не троньте, пожалѣйте ее! Кому-нибудь да надо же уступить; а кто умнѣй— уступаетъ.

— И то правда,—сказала старая царица.—Кто за меня—за мной!

И она стрѣлой вылетѣла изъ улья. Но крылья у пчелиныхъ матокъ не столько для летанія, сколько для красы—коротенькія. Пролетѣла царица нѣсколько шаговъ—

и устала; присѣла отдохнуть на ближнемъ деревѣ. А пчелы,чтó постарше, всѣ кинулись за нею, облѣпили вѣтку вкругъ царицы. Скоро ужь и мѣста не стало: пчела садилась на пчелу, и скучились онѣ такъ въ цѣлую черную бороду, отъ которой вѣтку къ землѣ пригнуло; вотъ-вотъ обломится... Но ей не дали обломиться. Кто же не далъ?—А пчелякъ, сѣдой добрый старичокъ, котораго Мохнатка въ первый разъ такъ испугалась. Сидѣлъ онъ неподалёку подъ своимъ

шалашомъ; когда же пчелы зароились, онъ проворно накинулъ на голову проволочную сѣтку, на руки надѣлъ рукавицы, за пазуху сунулъ деревянную ложку—*черпакъ* и взялъ въ охапку одинъ изъ пустыхъ ульевъ, что́ стояли у него тутъ-же наготовѣ. Поставивъ улей подъ самымъ роемъ, онъ еще ниже пригнулъ вѣтку—и черпакомъ сталъ огребать пчелъ, какъ дёготь или патоку какую. Неохотно шли пчелы съ черпака въ новый улей: матки-царицы еще не было тамъ. Но пчелякъ привычнымъ глазомъ скоро высмотрѣлъ ее среди мелкихъ рабочихъ пчелъ.

— А, вотъ ты гдѣ, сударыня!—сказалъ онъ, бережно сгребъ ее черпакомъ и подставилъ къ летку.

Царица, задыхаясь въ густомъ клубѣ пчелъ, рада-радёхонька шмыгнула въ улей. Увидѣвъ то, и другія пчелы живо туда же полѣзли; черпнулъ еще пчелякъ разъ и два—и весь рой былъ въ ульѣ. Тогда пчелякъ перенесъ улей на болѣе удобное мѣсто, гдѣ было просторнѣй и больше солнца.

— Богъ помочь!—сказалъ онъ и перекрестился.

А Мохнатка?—Мохнатка, вылетѣвъ въ общемъ роѣ за царицей, попала въ тотъ-же улей вмѣстѣ съ другими. Прошлась она теперь взадъ да впередъ по новому дому. Ай, какъ пусто, какъ неуютно! Ни улицъ, ни кладовыхъ, ни одного даже горшечка съ медомъ. Ну, что́ же дѣлать! Надо работать, работать и работать, чтобы въ новомъ домѣ стало такъ-же мило, какъ въ старомъ. Точно чудомъ въ сказкѣ волшебной, и новый пустой улей наполнился скоро сотами, а соты—душистымъ, золотистымъ медомъ. А въ чемъ было все чудо? Въ томъ, что всѣ работали одинаково прилежно, одинаково дружно. Все чудо было въ пчелиномъ законѣ: „всѣ за одного, одинъ за всѣхъ.“

V.

О томъ, какъ Мохнаткѣ конецъ пришелъ.

Хорошо и согласно живутъ пчелы, въ вѣкъ не поссорятся, не подерутся: тишь да гладь, да Божья благодать. Бѣда только, что много у нихъ враговъ: которую воробей или ласточка на лету проглотитъ; которая къ пауку въ паутину попадетъ—а тамъ поминай какъ звали! Которую разбойница-оса по дорогѣ заколетъ, да и ску-

шаетъ тутъ-же. Правда, и у пчелъ есть жало; да опасно имъ сражаться: не выдернешь жала—и помирай! Пчела безъ жала и дня не проживетъ. Зато, конечно, если ужь на родной улей воры-грабители нападутъ, такъ тутъ некогда думать о себѣ: хоть на мѣстѣ помри—лишь бы улей спасти: „всѣ за одного, одинъ за всѣхъ". А этихъ воровъ-грабителей куда какъ много, и не перечесть: то вороватая пчела изъ чужаго улья, то хитрецъ-муравей

тихомолкомъ проберется; ну, ихъ-то и безъ жала кусальцами такъ искусаешь, что ой-ой! никогда не буду! — Но хуже другихъ два звѣря-врага: одинъ, звѣрёкъ—*мышка*, другой, звѣрище—*Мишка*. Мышка забирается больше зимою, въ погребъ, куда ставитъ пчелякъ на зиму улья; Мишка же нападаетъ во всякую пору, хоть рѣдко, да мѣтко. Затѣмъ онъ вѣдь и Мишка-*медвѣдь*, что очень ужь лакомъ *медъ вѣдать*.

Однажды, Мохнатка, возвращаясь со взяткомъ домой, еще издали услыхала что-то небывалое: весь пчельникъ гудѣлъ и жужжалъ, будто взбунтовался, а сквозь пчелиный гулъ раздавалось страшное звѣриное рычанье. Подлетѣла ближе—и на лету остановилась. Изо всѣхъ ульевъ кругóмъ пчёлы повы́сыпали сотнями, тысячами, точно передъ роемъ. Отъ крику-рёва ихъ въ воздухѣ стонъ стоялъ. Одно только и можно было разобрать: „Мишка-медвѣдь! Мишка-медвѣдь!“—А самъ Мишка, громадный, косматый, ворча и рыча, шагалъ межъ ульевъ на заднихъ лапахъ, передними на силу отбиваясь отъ пчелъ. Вдругъ, точно опомнясь, онъ круто повернулъ къ ближнему улью, — а улей-то былъ какъ разъ родной улей Мохнатки, — и повалилъ его на земь. Крышка съ улья скатилась, и послѣднія пчелы, остававшіяся еще тамъ, тучей взвились кверху. Медвѣдь же, закрывшись отъ пчелъ одной лапой, другою полѣзъ прямо въ улей, въ медовую кладовую, да хапнулъ самый сочный, золотистый сотъ. Мохнатка отъ обиды свѣта не взвидѣла, не могла уже стерпѣть.

— Всѣ за одного, одинъ за всѣхъ!—вскрикнула она и бросилась на страшнаго звѣря, да ужалила его въ самый глазъ. Медвѣдь такъ и взвылъ отъ боли и побѣжалъ вонъ безъ оглядки. Подоспѣвшій въ это время пчелякъ поднялъ опять съ земли улей и поставилъ его на мѣсто.

СТРН. 222.

Но бѣдная Мохнатка! Она вонзила въ глазъ медвѣдю жало такъ глубоко, что оно тамъ и засѣло. Бѣдняжка вдругъ совсѣмъ ослабѣла, свалилась на земь, забилась въ траву, да незамѣтно на вѣкъ заснула. Но, умирая, не жалѣла ли она о томъ, что для спасенья улья себя погубила?—Нѣтъ, не жалѣла: она еще въ послѣдній разъ, чуть слышно прожужжала: „всѣ за одного, одинъ за всѣхъ...“

В. Авенаріусъ.

У ВСѢХЪ ИЗВѢСТНЫХЪ КНИГОПРОДАВЦЕВЪ ПРОДАЮТСЯ:

I.

ЧТО́ КОМНАТА ГОВОРИТЪ.

Разсказъ для дѣтей

В. П. АВЕНАРІУСА,

удостоенный первой преміи С.-Петербургскаго Фрёбелевскаго Общества. Роскошное изданіе, на толстой веленевой бумагѣ, украшенное рисунками **В. С. Крюкова** и **И. С. Панова.**

Въ разсказѣ этомъ разные предметы домашняго обихода: деревянные, желѣзные, глиняные, стеклянные, бумажные, сами повѣствуютъ исторію своего происхожденія, знакомя такимъ образомъ дѣтей, въ легкой и доступной формѣ, съ важнѣйшими для дома ремеслами и техническими производствами.

Цѣна—**50 коп.**, съ пересылкою—**55 коп.**

(Получившая годомъ раньше первую же премію Фребелевскаго Общества „Сказка о пчелѣ Мохнаткѣ", помѣщаемая въ настоящемъ сборникѣ, въ отдѣльномъ видѣ не имѣется уже въ продажѣ.)

II.

КНИГА БЫЛИНЪ.

Сводъ избранныхъ образцовъ русской народной эпической поэзіи. (Новое изданіе **„Книги о кіевскихъ богатыряхъ“**, дополненное былинами новгородскими, московскими, казацкими, петровскими и безъимянными.)

Составилъ В. П. АВЕНАРІУСЪ.

Съ портретомъ пѣвца былинъ Рябинина, работы академика **Л. А. Сѣрякова**, заглавною виньеткою **Н. Н. Каразина** и 17 рисунками **А. В. Прохорова** и **Н. Н. Каразина.**

Содержаніе: Введеніе къ былинамъ.—Былины кіевскія: I. Вольга Всеславьевичъ. II. Дунай Ивановичъ сватомъ князя Владиміра. III. Дунай Ивановичъ и Настасья королевична. IV. Алеша Поповичъ. V. Первый бой Добрыни Никитича съ змѣемъ Горынчищемъ. VI. Второй бой Добрыни съ змѣемъ. VII. Ставеръ Годиновичъ и Василиса Микулична. VIII. Соловей Будиміровичъ. IX. Исцѣленіе Ильи Муромца. X. Илья Муромецъ и Соловей разбойникъ. XI. Микула Селяниновичъ. XII. Святогоръ. XIII. Добрыня Никитичъ и Настасья Микулична. XIV. Илья Муромецъ и Святогоръ. XV. Илья Муромецъ и Идолище. XVI. Илья Муромецъ въ ссорѣ съ княземъ Владиміромъ. XVII. Илья Муромецъ и Калинъ царь. XVIII. Чурила Пленковичъ. XIX. Дюкъ Степановичъ. XX. Добрыня Никитичъ въ отъѣздѣ. XXI. Михайло Потыкъ. XXII. Илья Муромецъ и Сокольникъ. XXIII. Три поѣздочки Ильи Муромца. XXIV. Какъ перевелись богатыри на святой Руси.—**Былины новгородскія:** I. Молодость Василія Буслаева. II. Смерть Василія Буслаева. III. Садко дѣлается богатымъ гостемъ. IV. Садко въ Поддонномъ царствѣ.—**Былины московскія, казацкія и петровскія:** I. Взятіе Казани Грознымъ царемъ. II. Оговоръ царевича передъ Грознымъ. III. Ермакъ, покоритель Сибири. IV. Царевичъ Димитрій и Борисъ Годуновъ. V. Гришка Отрепьевъ и Марина Мнишекъ. VI. Смерть Стеньки Разина. VII. Азовъ. VIII. Плачъ войска по Петрѣ.—**Былины безъимянныя:**

I. О добромъ молодцѣ и рѣкѣ Смородинѣ. II. Татарскій полонъ. III. О Горюшкѣ. IV. „Ужь какъ палъ туманъ...“—**Примѣчанія къ былинамъ.—Алфавитный Указатель** требующихъ объясненія собственныхъ именъ и необычныхъ словъ, встрѣчающихся въ былинахъ.—

Еще въ первомъ изданіи своемъ „*Книга о кіевскихъ богатыряхъ*“ была одобрена Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просвѣщенія *какъ для фундаментальныхъ, такъ и для ученическихъ библіотекъ всѣхъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, а также для наградъ учащимся,* а Ученымъ Комитетомъ IV Отдѣленія Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи—какъ *весьма полезное учебное пособіе для старшихъ классовъ женскихъ институтовъ и гимназій*; причемъ въ журналѣ сего послѣдняго Комитета было высказано слѣдующее:

„Этотъ сводъ 24-хъ кіевскихъ былинъ являетъ собою именно такое по„собіе при изученіи нашей народной поэзіи, въ какомъ мы до сихъ поръ „нуждались. Въ каждой изъ существующихъ хрестоматій есть кіевскія „былины; но онѣ приведены отдѣльно, на выдержку, и притомъ иногда въ „такомъ видѣ наивнаго, чтобы не сказать циничнаго, народнаго склада, „что учащимся пользоваться ими не совсѣмъ удобно. Г. Авенаріусъ весьма „удачно обошелъ эти недостатки, и про книгу его можно сказать, что она „безспорно пользуется тремя главными достоинствами: вопервыхъ, 24 бы„лины г. Авенаріуса представляютъ собою *цѣлое*, проникнутое связью от„носительно мѣста дѣйстія, времени, характера дѣйствующихъ лицъ и „ихъ тяготѣнія къ центру—къ князю Владиміру. Эти 24 былины наглядно „указываютъ на тотъ историческій фактъ, какъ древняя Русь, въ лицѣ „лучшихъ ея представителей, сосредоточивалась около Кіева, около люби„маго князя. По связи, которая проведена во всѣхъ 24-хъ былинахъ, Ко„митетъ позволяетъ себѣ назвать сводъ г. Авенаріуса *русскою Иліадою*. „Богатыри являются не какъ отдѣльныя лица, каждый самъ по себѣ, а какъ „родные братья русской земли, приходящіе къ Владиміру непремѣнно „*почему-либо* и *зачѣмъ-либо*; если же заходитъ рѣчь и о богатыряхъ „до-Владимірской эпохи, то о нихъ на пирахъ, по просьбѣ Владиміра, „поетъ гусляръ Добрыня. Для доказательства того, до какой степени эта „внутренняя связь присуща своду г. Авенаріуса, Комитетъ излагаетъ кратко „содержаніе нѣкоторыхъ былинъ, а затѣмъ указываетъ на другія два до„стоинства изданія г. Авенаріуса: первое изъ нихъ заключается въ отсут„ствіи всего грубаго и циничнаго, а второе—составляютъ приложенные

„въ концѣ книги примѣчанія и алфавитный указатель старорусскихъ на-„родныхъ словъ“ („Правит. Вѣстникъ“ № 36, 1876 г.).

Въ новомъ, дополненномъ изданіи, „*Книга былинъ*“ одобрена Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просвѣщенія какъ *учебное пособіе при изученіи словесности* („Прав. Вѣстникъ“ № 257, 1879 г.).

Изъ числа многочисленныхъ благопріятныхъ отзывовъ органовъ печати („Голосъ“, „Новое Время“, „Московскія Вѣдомости“, "St. Petersburger Zeitung“, „Вѣстникъ Европы“, „Нива“ и проч.), приводится здѣсь отзывъ „Московскихъ Вѣдомостей“ (№ 77, 1880 г.):

„Книга издана такъ тщательно, что можетъ занять мѣсто въ каждой „библіотекѣ; печать четкая и крупная, бумага очень хорошая, рисунки ис-„полнены весьма удовлетворительно. Едва ли нужно что-нибудь говорить „о содержаніи. Кому неизвѣстны эти эпическія русскія произведенія съ „ихъ оригинальнымъ, чисто-народнымъ языкомъ, смѣлыми, яркими и образ-„ными оборотами рѣчи, съ ихъ глубокою поэзіей? Намъ думается, что эта „*Книга былинъ*“ можетъ оказать особыя услуги въ качествѣ семейнаго „чтенія, къ которому прислушиваются вечеромъ дѣти и взрослые, уютно „собравшись за столомъ. Взрослыхъ поразитъ поэзія образовъ, удивительная „сила и мѣткость языка, тонкій юморъ, обиліе сравненій и параллелей, „вызываемыхъ этими былинами въ человѣкѣ, знакомомъ съ памятниками и „исторіей всеобщей литературы. Для дѣтей здѣсь впервые откроется міръ „русскаго богатырскаго эпоса; разъ запавъ въ дѣтское воображеніе и па-„мять, могучія фигуры этого полумиѳическаго, полуисторическаго міра „навсегда останутся въ нихъ запечатлѣнными; не даромъ говорятъ былины „про своихъ героевъ: „и во вѣкъ та слава не минуется“. Нельзя не пора-„доваться въ этомъ отношеніи за нашихъ дѣтей. Сокровища русской на-„родной поэзіи достаются имъ теперь легко и просто, тогда какъ въ „наше“ „время только-что начиналась еще разработка этихъ сокровищъ, и мы почти „впервые знакомились съ ними на университетской скамьѣ. Народная „поэзія драгоцѣнна тѣмъ, что она даетъ каждому возрасту то, что мо-„жетъ быть имъ воспринято. Вотъ почему мы думаемъ, что „*Книгѣ былинъ*“ „должно быть отведено мѣсто во всякомъ русскомъ домѣ.“

Цѣна книги: въ тисненомъ, прочномъ англійскомъ переплетѣ **3 р. 50 к.**, въ бумажкѣ **2 р. 70 к.**

PG 3115 .O2 1882 C.1
Obrazteovyia skazki russkikh p
Stanford University Libraries
3 6105 034 363 734

DATE DUE			

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004